

Ганс Христиан Андерсен

Истории и сказки

Гречиха (Пер. А. Ганзен)

Часто, когда после грозы идешь полем, видишь, что гречиху опалило дочерна, будто по ней пробежал огонь; крестьяне в таких случаях говорят: "Это ее опалило молнией!" Но почему?

А вот что я слышал от воробья, которому рассказывала об этом старая ива, растущая возле гречишного поля - дерево такое большое, почтенное и старое-престарое, все корявое, с трещиной посередине. Из трещины растут трава и ежевика; ветви дерева, словно длинные зеленые кудри, свешиваются до самой земли.

Поля вокруг ивы были засеяны рожью, ячменем и овсом - чудесным овсом, похожим, когда созреет, на веточки, усеянные маленькими желтенькими канарейками. Хлеба стояли прекрасные, и чем полнее были колосья, тем ниже склоняли они в смирении свои головы к земле.

Тут же, возле старой ивы, было поле с гречихой; гречиха не склоняла головы, как другие хлеба, а держалась гордо и прямо.

- Я не беднее хлебных колосьев! - говорила она. - Да к тому же еще красивее. Мои цветы не уступят цветам яблони. Любо-дорого посмотреть! Знаешь ли ты, старая ива, кого-нибудь красивее меня? Но ива только качала головой, как бы желая сказать: "Конечно, знаю!" А гречиха надменно говорила:

- Глупое дерево, у него от старости из желудка трава растет!

Вдруг поднялась страшная непогода; все полевые цветы свернули лепестки и склонили свои головки; одна гречиха красовалась по-прежнему.

- Склони голову! - говорили ей цветы.

- Незачем! - отвечала гречиха.

- Склони голову, как мы! - закричали ей колосья. - Сейчас промчится под облаками ангел бури! Крылья его доходят до самой земли! Он снесет тебе голову, прежде чем ты успеешь взмолиться о пощаде!

- Ну, а я все-таки не склоню головы! - сказала гречиха.

- Сверни лепестки и склони голову! - сказала ей и старая ива. - Не гляди на молнию, когда она раздирает облака! Сам человек не дерзает этого: в это время можно заглянуть в самое небо господне, а за такой грех Господь карает человека слепотой. Что же ожидает тогда нас? Ведь мы, бедные полевые злаки, куда ниже, ничтожнее человека!

- Ниже? - сказала гречиха. - Так вот же я возьму и загляну в небо Господне!

И она в самом деле решилась на это в своем горделивом упорстве. Тут такая сверкнула молния, как будто весь мир загорелся, когда же снова прояснилось, цветы и хлеба, освеженные и омытые дождем, радостно вдыхали в себя мягкий, чистый воздух. А гречиха была вся опалена молнией, она погибла и никуда больше не годилась.

Старая ива тихо шевелила ветвями на ветру; с зеленых листьев падали крупные дождевые капли; дерево будто плакало, и воробьи спросили его:

- О чем ты? Посмотри, как славно кругом, как светит солнышко, как бегут облака! А что за аромат несется от цветов и кустов! О чем же ты плачешь, старая ива?

Тогда ива рассказала им о высокомерной гордости и о казни гречихи; гордость всегда ведь бывает наказана. От воробьев же услышал эту историю и я: они прощепетали мне ее как-то раз вечером, когда я просил их рассказать мне сказку.

Ель (Пер. А. Ганзен)

В лесу стояла чудесная ёлочка. Место у нее было хорошее, воздуха и света вдоволь; кругом же росли подруги постарше — и ели, и сосны. Ёлочке ужасно хотелось поскорее вырасти; она не думала ни о теплом солнышке, ни о свежем воздухе, не было ей дела и до болтливых крестьянских ребятишек, что собирали по лесу землянику и малину; набрав полные корзиночки или нанизав ягоды, словно бусы, на тонкие прутьики, они присаживались под елочку отдохнуть и всегда говорили:

— Вот славная ёлочка! Хорошенькая, маленькая! Таких речей деревце и слушать не хотело.

Прошел год, и у елочки прибавилось одно коленце, прошел еще год, прибавилось еще одно — так, по числу коленцев, и можно узнать, сколько дереву лет.

— Ах, если бы я была такой же большой, как другие деревья! — вздыхала елочка.

— Тогда бы и я широко раскинула свои ветви, высоко подняла голову, и мне бы видно было далеко-далеко вокруг! Птицы свили бы в моих ветвях гнезда, и я при ветре так же важно кивала бы головой, как другие!

И ни солнышко, ни пение птичек, ни розовые утренние и вечерние облака не доставляли ей ни малейшего удовольствия.

Стояла зима; земля была устлана сверкающим снежным ковром; по снегу нет-нет да пробежал заяц и иногда даже перепрыгивал через елочку — вот обида! Но прошло еще две зимы, и к третьей деревце подросло уже настолько, что зайцу приходилось обходить его кругом.

«Да, расти, расти и поскорее сделаться большим, старым деревом — что может быть лучше этого!» — думалось елочке.

Каждую осень в лесу появлялись дровосеки и рубили самые большие деревья. Ёлочка каждый раз дрожала от страха при виде падавших на землю с шумом и треском огромных деревьев. Их очищали от ветвей, и они валялись на земле такими голыми, длинными и тонкими. Едва можно было узнать их! Потом их укладывали на дровни и увозили из леса.

Куда? Зачем?

Весною, когда прилетели ласточки и аисты, деревце спросило у них:

— Не знаете ли, куда повезли те деревья? Не встречали ли вы их? Ласточки ничего не знали, но один из аистов подумал, кивнул головой и сказал:

— Да, пожалуй! Я встречал на море, по пути из Египта, много новых кораблей с великолепными высокими мачтами. От них пахло елью и сосной. Вот где они!

— Ах, поскорей бы и мне вырасти да пуститься в море! А каково это море, на что оно похоже?

— Ну, это долго рассказывать! — ответил аист и улетел.

— Радуйся своей юности! — говорили елочке солнечные лучи. — Радуйся своему здоровому росту, своей молодости и жизненным силам!

И ветер целовал дерево, роса проливалась над ним слезы, но ель ничего этого не ценила.

Незадолго до Рождества срубили несколько совсем молоденьких елок; некоторые из них были даже меньше нашей елочки, которой так хотелось поскорее вырасти. Все срубленные деревца были прехорошенькие; их не очищали от ветвей, а прямо уложили на дровни и увезли из леса.

— Куда? — спросила ель. — Они не больше меня, одна даже меньше. И почему на них оставили все ветви? Куда их повезли?

— Мы знаем! Мы знаем! — прочирикали воробьи. — Мы были в городе и заглядывали в окна! Мы знаем, куда их повезли! Они попадут в такую честь, что и сказать нельзя! Мы заглядывали в окна и видели! Их ставят посреди теплой комнаты и украшают чудеснейшими вещами: золочеными яблоками, медовыми пряниками и тысячами свечей!

— А потом?.. — спросила ель, дрожа всеми ветвями. — А потом?.. Что было с ними потом?

— А больше мы ничего не видали! Но это было бесподобно!

— Может быть, и я пойду такую же блестящую дорогой! — радовалась ель. — Это получше, чем плавать по морю! Ах, я просто изнываю от тоски и нетерпения! Хоть бы поскорее пришло Рождество! Теперь и я стала такую же высокою и раскидистою, как те, что были срублены в прошлом году! Ах, если б я уже лежала на дровнях! Ах, если б я уже стояла, разубранная всеми этими прелестями, в теплой комнате! А потом что?.. Потом, верно, будет еще лучше, иначе зачем бы и наряжать меня!.. Только что именно? Ах, как я тоскую и рвусь отсюда! Просто и сама не знаю, что со мной!

— Радуйся нам! — сказали ей воздух и солнечный свет. — Радуйся своей юности и лесному приволью!

Но она и не думала радоваться, а все росла да росла. И зиму, и лето стояла она в своем зеленом уборе, и все, кто видел ее, говорили: «Вот чудесное деревце!» Подошло, наконец, и Рождество, и елочку срубили первую. Жгучая боль и тоска не дали ей даже и подумать о будущем счастье; грустно было расставаться с родным лесом, с тем уголком, где она выросла: она ведь знала, что никогда больше не увидит своих милых подруг — елей и сосен, кустов, цветов, а может быть, даже и птичек! Как тяжело, как грустно!..

Деревце пришло в себя только тогда, когда очутилось вместе с другими деревьями на дворе и услышало возле себя чей-то голос:

— Чудесная елка! Такую-то нам и нужно!

Явились двое разодетых слуг, взяли елку и внесли ее в огромную великолепную залу. По стенам висели портреты, а на большой кафельной печке стояли китайские вазы со львами на крышках; повсюду были расставлены кресла-качалки, шелковые диваны и большие столы, заваленные альбомами, книжками и игрушками на несколько сот далеров — так, по крайней мере, говорили дети. Елку посадили в большую кадку с песком, обернули кадку зеленою материей и поставили на пестрый ковер. Как трепетала елочка! Что-то теперь будет? Явились слуги и молодые девушки и стали наряжать ее. Вот на ветвях повисли полные сластей маленькие сетки, вырезанные из цветной бумаги, золоченые яблоки и орехи и закачались куклы — ни дать ни взять живые человечки; таких елка еще и не видывала. Наконец к ветвям прикрепили сотни разноцветных маленьких свечек, а к самой верхушке елки — большую звезду из сусального золота. Ну просто глаза разбегались, глядя на все это великолепие!

— Как заблестит, засияет елка вечером, когда зажгутся свечки! — сказали все.

«Ах! — подумала елка, — хоть бы поскорее настал вечер и зажгли свечки! А что же будет потом? Не явятся ли сюда из лесу, чтобы полюбоваться на меня, другие деревья? Не прилетят ли к окошкам воробьи? Или, может быть, я вращу в эту кадку и буду стоять тут такую нарядной и зиму и лето?»

Да, много она знала!.. От напряженного ожидания у нее даже заболела кора, а это для дерева так же неприятно, как для нас головная боль.

Но вот зажгли свечи. Что за блеск, что за роскошь! Елка задрожала всеми ветвями, одна из свечек подпалила зеленые иглы, и елочка пребольно обожглась.

— Ай-ай! — закричали барышни и поспешно затушили огонь. Больше елка дрожать не смела. И напугалась же она! Особенно

потому, что боялась лишиться хоть малейшего из своих украшений. Но весь этот блеск просто ошеломлял ее... Вдруг обе половинки дверей распахнулись, и ворвалась целая толпа детей; можно было подумать, что они намеревались свалить дерево! За ними степенно вошли старшие. Малыши остановились как вкопанные, но лишь на минуту, а там поднялся такой шум и гам, что просто в ушах звенело. Дети плясали вокруг елки, и мало-помалу все подарки с нее были посорваны.

«Что же это они делают! — думала елка. — Что это значит?» Свечки догорели, их потушили, а детям позволили обобрать дерево. Как они набросились на него! Только ветви трещали! Не будь елка крепко привязана верхушкой с золотой звездой к потолку, они бы повалили ее.

Потом дети опять принялись плясать, не выпуская из рук своих чудесных игрушек. Никто больше не глядел на елку, кроме старой няни, да и та высматривала только, не осталось ли где в ветвях яблочка или финика.

— Сказку! Сказку! — закричали дети и подтащили к елке маленького толстенького господина.

Он уселся под деревом и сказал:

— Вот мы и в лесу! Да и елка, кстати, послушает! Но я расскажу только одну сказку! Какую хотите: про Иведе-Аведе или про Клумпе-Думпе, который, хоть и свалился с лестницы, все-таки вошел в честь и добыл себе принцессу?

— Про Иведе-Аведе! — закричали одни.

— Про Клумпе-Думпе! — кричали другие.

Поднялся крик и шум; одна елка стояла смирно и думала: «А мне разве нечего больше делать?»

Она уж сделала свое дело!

И толстенький господин рассказал про Клумпе-Думпе, который, хоть и свалился с лестницы, все-таки вошел в честь и добыл себе принцессу.

Дети захлопали в ладоши и закричали: «Еще, еще!» Они хотели послушать и про Иведе-Аведе, но остались при одном Клумпе-Думпе.

Тихо, задумчиво стояла елка: лесные птицы никогда не рассказывали ничего подобного. «Клумпе-Думпе свалился с лестницы, и все же ему досталась принцесса! Да, вот что бывает на белом свете!» — думала елка: она вполне верила всему, что сейчас слышала, — рассказывал ведь такой почтенный господин. «Да, да, кто знает! Может быть, и мне придется свалиться с лестницы, а потом и мне достанется принцесса!» И она с радостью думала о завтрашнем дне: ее опять украсят свечками, игрушками, золотом и фруктами! «Завтра уж я не задрожу! — думала она. — Я хочу как следует насладиться своим великолепием! И завтра я опять услышу сказку про Клумпе-Думпе, а может статься, и про Иведе-Аведе». И деревце смирно простояло всю ночь, мечтая о завтрашнем дне.

Поутру явились слуга и горничная. «Сейчас опять начнут меня украшать!» — подумала елка, но они вытащили ее из комнаты, поволокли по лестнице и сунули в самый темный угол чердака, куда даже не проникал дневной свет.

«Что же это значит? — думалось елке. — Что мне здесь делать? Что я тут увижу и услышу?» И она прислонилась к стене и все думала, думала... Времени на это было довольно: проходили дни и ночи — никто не заглядывал к ней. Раз только пришли люди поставить на чердак какие-то ящики. Дерево стояло совсем в стороне, и о нем, казалось, забыли.

«На дворе зима! — думала елка. — Земля затвердела и покрыта снегом: нельзя, значит, снова посадить меня в землю, вот и приходится постоять под крышей до весны! Как это умно придумано! Какие люди добрые! Не будь только здесь так темно и так ужасно пусто!.. Нет даже ни единого зайчика!.. А в лесу-то как было весело!

Кругом снег, а по снегу скачут зайчики! Хорошо было... Даже когда они прыгали через меня, хоть меня это и сердило! А тут как пусто!»

— Пи-пи! — пискнул вдруг мышонок и выскочил из норки, за ним еще несколько. Они принялись обнюхивать дерево и шмыгать меж его ветвями.

— Ужасно холодно здесь! — сказали мышата. — А то совсем бы хорошо было! Правда, старая елка?

— Я вовсе не старая! — отвечала ель. — Есть много деревьев постарше меня!

— Откуда ты и что ты знаешь? — спросили мышата; они были ужасно любопытны.

— Расскажи нам, где самое лучшее место на земле? Ты была там? Была ты когда-нибудь в кладовой, где на полках лежат сыры, а под потолком висят окорока и где можно плясать по сальным свечкам? Туда войдешь тощим, а выйдешь оттуда толстым!

— Нет, такого места я не знаю! — сказала ель. — Но я знаю лес, где светит солнышко и поют птички!

И она рассказала им о своей юности; мышата никогда не слышали ничего подобного, выслушали рассказ елки и потом сказали:

— Как же ты много видела. Как ты была счастлива!

— Счастлива? — сказала ель и задумалась о том времени, о котором только что рассказывала. — Да, пожалуй, тогда мне жилось недурно!

Затем она рассказала им про тот вечер, когда была разубрана пряниками и свечками.

— О! — сказали мышата. — Как же ты была счастлива, старая елка!

— Я совсем еще не стара! — возразила ель. — Я взята из леса только нынешнею зимой! Я в самой поре! Только что вошла в рост!

— Как ты чудесно рассказываешь! — сказали мышата и на следующую ночь привели с собой еще четырех, которым тоже надо было послушать рассказы елки. А сама ель чем больше рассказывала, тем яснее припоминала свое прошлое, и ей казалось, что она пережила много хороших дней.

— Но они же вернуться! Вернутся! И Клумпе-Думпе упал с лестницы, а все-таки ему досталась принцесса! Может быть, и мне тоже достанется принцесса!

При этом дерево вспомнило хорошенькую березку, что росла в лесной чаще неподалеку от него, — она казалась ему настоящей принцессой.

— Кто это Клумпе-Думпе? — спросили мышата, и ель рассказала им всю сказку; она запомнила ее слово в слово. Мышата от удовольствия чуть не прыгали до самой верхушки дерева. На следующую ночь явилось еще несколько мышей, а в воскресенье пришли даже две крысы. Этим сказка вовсе не понравилась, что очень огорчило мышат, но теперь и они перестали уже так восхищаться сказкою, как прежде.

— Вы только одну эту историю и знаете? — спросили крысы.

— Только! — отвечала ель. — Я слышала ее в счастливейший вечер в моей жизни; тогда-то я, впрочем, еще не сознавала этого!

— В высшей степени жалкая история! Не знаете ли вы чего-нибудь про жир или сальные свечки? Про кладовую?

— Нет! — ответило дерево.

— Так счастливо оставаться! — сказали крысы и ушли. Мышата тоже разбежались, и ель вздохнула:

— А ведь славно было, когда эти резвые мышата сидели вокруг меня и слушали мои рассказы! Теперь и этому конец... Но уж теперь я не упущу своего, порадуюсь хорошенько, когда наконец снова выйду на белый свет!

Не так-то скоро это случилось!

Однажды утром явились люди прибрать чердак. Ящики были вытащены, а за ними и ель. Сначала ее довольно грубо бросили на пол, потом слуга поволок ее по лестнице вниз.

«Ну, теперь для меня начнется новая жизнь!» — подумала елка.

Вот на нее повеяло свежим воздухом, блеснул луч солнца — ель очутилась на дворе. Все это произошло так быстро, вокруг было столько нового и интересного для нее, что она не успела и поглядеть на самое себя. Двор примыкал к саду; в саду все зеленело и цвело. Через изгородь перевешивались свежие благоухающие розы, липы были покрыты цветом, ласточки летали взад и вперед и щебетали:

— Квир-вир-вит! Мой муж вернулся! Но это не относилось к ели.

— Теперь и я заживу! — радовалась ель и расправила свои ветви. Ах, как они поблекли и пожелтели!

Дерево лежало в углу двора, на крапиве и сорной траве; на верхушке его все еще сияла золотая звезда.

На дворе весело играли те самые ребяташки, что прыгали и плясали вокруг разубранной елки в сочельник. Самый младший увидел дерево и сорвал с него звезду.

— Поглядите-ка, что осталось на этой гадкой, старой елке! — сказал он и наступил ногами на ее ветви — ветви захрустели.

Ель посмотрела на молодую, цветущую жизнь вокруг, потом поглядела на самое себя и пожелала вернуться в свой темный угол на чердак.

Вспомнились ей и молодость, и лес, и веселый сочельник, и мышата, радостно слушавшие сказку про Клумпе-Думпе...

— Все прошло, прошло! — сказала бедное дерево. — И хоть бы я радовалась, пока было время! А теперь... все прошло, прошло!

Пришел слуга и изрубил елку в куски — вышла целая связка растопок. Как славно запылали они под большим котлом! Дерево глубоко-глубоко вздыхало, и эти вздохи были похожи на слабые выстрелы. Прибежали дети, уселись перед огнем и встречали каждый выстрел веселым «пиф! паф!». А ель, испуская тяжелые вздохи, вспоминала ясные летние дни и звездные зимние ночи в лесу, веселый сочельник и сказку про Клумпе-Думпе, единственную слышанную ею сказку!.. Так она вся и сгорела.

Мальчики опять играли на дворе; у младшего на груди сияла та самая золотая звезда, которая украшала елку в счастливейший вечер ее жизни. Теперь он прошел, канул в вечность, елке тоже пришел конец, а с нею и нашей истории. Конец, конец! Все на свете имеет свой конец!

Есть же разница!

(Пер. А. Ганзен)

Стоял май месяц; воздух был еще довольно холодный, но все в природе - и кусты, и деревья, и поля, и луга - говорило о наступлении весны. Луга пестрели цветами: распускались цветы и на живой изгороди; а возле как раз красовалось олицетворение самой весны - маленькая яблонька вся в цвету.

Особенно хороша была на ней одна ветка, молоденькая, свеженькая, вся осыпанная нежными полураспустившимися розовыми бутонами. Она сама знала, как она хороша; сознание красоты было у нее в соку. Ветка поэтому ничуть не удивилась, когда проезжавшая по дороге коляска остановилась прямо перед яблоней и молодая графиня сказала, что прелестнее этой веточки трудно и сыскать, что она живое воплощение юной красавицы весны. Веточку отломали, графиня взяла ее своими

нежными пальчиками и бережно повезла домой, защищая от солнца шелковым зонтиком. Приехали в замок, веточку понесли по высоким, роскошно убранным покоем. На открытых окнах развевались белые занавеси, в блестящих, прозрачных вазах стояли букеты чудесных цветов. В одну и ваз, словно вылепленную из свежеснежного снега, поставили и ветку яблони, окружив ее свежими светло-зелеными буковыми ветвями. Прелесть, как красиво было!

Ветка возгордилась, и что же? Это было ведь в порядке вещей!

Через комнату проходило много разного народа; каждый посетитель смел высказывать свое мнение лишь в такой мере, в какой за ним самим признавали известное значение. И вот некоторые не говорили совсем ничего, некоторые же чересчур много; ветка смекнула, что и между людьми, как между растениями, есть разница.

"Одни служат для красоты, другие только для пользы, а без третьих и вовсе можно обойтись", - думала ветка.

Ее поставили как раз против открытого окна, откуда ей были видны сад и поле, так что она вдоволь могла наглядеться на разные цветы и растения и подумать о разнице между ними; там было много всяких - и роскошных и простых, даже слишком простых.

- Бедные отверженные растения! - сказала ветка. - Большая в самом деле разница между нами! Какими несчастными должны они себя чувствовать, если только они вообще способны чувствовать, как я и мне подобные! Да, большая между нами разница! Но так и должно быть, иначе все были бы равны!

И ветка смотрела на полевые цветы с каким-то состраданием; особенно жалким казался ей один сорт цветов, которыми кишмя кишели все поля и даже канавы.

Никто не собирал их в букеты, - они были слишком просты, обыкновенны; их можно было найти даже между камнями мостовой, они пробивались отовсюду, как самая последняя сорная трава. И имя-то у них было прегадкое: чертовы подойники (датское название одуванчиков). - Бедное презренное растение! - сказала ветка. - Ты не виновато, что принадлежишь к такому сорту и что у тебя такое гадкое имя! Но и между растениями, как между людьми, должна быть разница!

- Разница? - отозвался солнечный луч и поцеловал цветущую ветку, но поцеловал и желтые чертовы подойники, росшие в поле; другие братья его - солнечные лучи - тоже целовали бедные цветочки наравне с самыми пышными.

Ветка яблони никогда не задумывалась о бесконечной любви господина ко всему живому на земле, никогда не думала о том, сколько красоты и добра может быть скрыто в каждом божьем создании, скрыто, но не забыто. Ничего такого ей и в голову не приходило, и что же? Собственно говоря, это было в порядке вещей! Солнечный луч, луч света, понимал дело лучше.

- Как же ты близорука, слепа! - сказал он веточке. - Какое это отверженное растение ты так жалеешь?

- Чертовы подойники! - сказала ветка. - Никогда из них не делают букетов, их топчут ногами - слишком уж их много! Семена же их летают над дорогой, как стриженная шерсть, и пристают к платью прохожих. Сорная трава, и больше ничего! Но кому-нибудь да надо быть и сорною травой! Ах, я так благодарна судьбе, что я не из их числа!

На поле высыпала целая толпа детей. Самого младшего принесли на руках и посадили на травку посреди желтых цветов. Малютка весело смеялся, шалил, колотил по траве ножками, кувыркался, рвал желтые цветы и даже целовал их в простоте невинной детской души. Дети постарше обрывали цветы прочь, а пустые внутри стебельки сгибали и вкладывали один их конец в другой, потом делали из таких отдельных колец длинные цепочки и цепи и украшали ими шею, плечи, талию,

грудь и голову. То-то было великолепие! Самые же старшие из детей осторожно срывали уже отцветшие растения, увенчанные перистыми коронками, подносили эти воздушные шерстяные цветочки - своего рода чудо природы - ко рту и старались сдуть разом весь пушок. Кому это удастся, тот получит новое платье еще до Нового года, - так сказала бабушка.

Презренный цветок оказывался в данном случае настоящим пророком.

- Видишь? - спросил солнечный луч. - Видишь его красоту, его великое значение?

- Да, для детей! - отвечала ветка.

Приплелась на поле и старушка бабушка и стала выкапывать тупым обломком ножа корни желтых цветов. Некоторые из корней она собиралась употребить на кофе, другие - продать в аптеку на лекарство.

- Красота все же куда выше! - сказала ветка. - Только избранные войдут в царство прекрасного! Есть же разница и между растениями, как между людьми!

Солнечный луч заговорил о бесконечной любви божьей ко всякому земному созданию: все, что одарено жизнью, имеет свою часть во всем - и во времени и в вечности!

- Ну, это только вы так думаете! - сказала ветка.

В комнату вошли люди; между ними была и молодая графиня, поставившая ветку в прозрачную, красивую вазу, сквозь которую просвечивало солнце. Графиня несла в руках цветок, - что же еще? - обернутой крупными зелеными листьями; цветок лежал в них, как в футляре, защищенный от малейшего дуновения ветра. И несла его графиня так бережно, как не несла даже нежную ветку яблони. Осторожно отогнула она зеленые листья, и из-за них выглянула воздушная корона презренного желтого цветка. Его-то графиня так осторожно сорвала и так бережно несла, чтобы ветер не сдул ни единого из тончайших перышек его пушистого шарика. Она донесла его целым и невредимым и не могла налюбоваться красотой, прозрачностью, всем своеобразным построением этого чудо-цветка, вся прелесть которого - до первого дуновения ветра.

- Посмотрите же, что за чудо создал Господь Бог! - сказала графиня. - Я нарисую его вместе с веткой яблони. Все любят ее, но милостью Творца и этот бедненький цветочек наделен не меньшею красотой. Как ни различны они, все же оба - дети одного царства прекрасного!

И солнечный луч поцеловал бедный цветочек, а потом поцеловал цветущую ветку, и лепестки ее как будто слегка покраснели.

Истинная правда

(Пер. А. Ганзен)

Ужасное происшествие! - сказала курица, проживавшая совсем на другом конце города, а не там, где случилось происшествие. - Ужасное происшествие в курятнике! Я просто не смею теперь ночевать одна! Хорошо, что нас много на нашесте!

И она принялась рассказывать, да так, что перышки у всех кур встали дыбом, а гребешок у петуха съежился. Да, да, истинная правда!

Но мы начнем сначала, а началось все в курятнике на другом конце города.

Солнце садилось, и все куры уже были на нашесте. Одна из них, белая коротконожка, курица во всех отношениях добропорядочная и почтенная, исправно несущая положенное число яиц, усевшись поудобнее, стала перед сном чиститься и охорашиваться. И - вот одно маленькое перышко вылетело и упало на землю.

- Ишь полетело! - сказала курица. - Ну ничего, чем больше охорашиваешься, тем больше хорошеешь!

Это было сказано так, в шутку, - курица вообще была веселого нрава, но это ничуть не мешало ей быть, как уже сказано, весьма и весьма почтенною курицей. С тем она и заснула.

В курятнике было темно. Куры сидели рядом, и та, что сидела бок о бок с нашей курицей, не спала еще: она не то чтобы нарочно подслушивала слова соседки, а так, слышала краем уха, - так ведь и следует, если хочешь жить в мире с ближними! И вот она не утерпела и шепнула другой своей соседке:

- Слышала? Я не желаю называть имен, но среди нас есть курица, которая готова выщипать себе все перья, чтобы только быть покрасивее. Будь я петухом, я бы презирала ее!

Как раз над курами сидела в гнезде сова с мужем и детками; у сов слух острый, и они не упустили ни одного слова соседки. Все они при этом усиленно вращали глазами, а совиха махала крыльями, точно опахалами.

- Тс-с! Не слушайте, детки! Впрочем, вы, конечно, уже слышали? Я тоже. Ах! Просто уши вянут! Одна из кур до того забылась, что принялась выщипывать себе перья прямо на глазах у петуха!

- Осторожно, здесь дети! - сказал сова-отец. - При детях о таких вещах не говорят!

- Надо все-таки рассказать об этом нашей соседке сове, она такая милая особа!

И совиха полетела к соседке.

- У-гу, у-гу! - загукали потом обе совы прямо над соседней голубятней.

- Вы слышали? Вы слышали? У-гу! Одна курица выщипала себе все перья из-за петуха! Она замерзнет, замерзнет до смерти! Если уже не замерзла! У-гу!

- Кур-кур! Где, где? - ворковали голуби.

- На соседнем дворе! Это почти на моих глазах было! Просто неприлично и говорить об этом, но это истинная правда!

- Верим, верим! - сказали голуби и заворковали сидящим внизу курам:

- Кур-кур! Одна курица, а иные говорят, даже две выщипали себе все перья, чтобы отличиться перед петухом! Рискованная затея. Этак и простудиться и умереть недолго, да они уж и умерли!

- Кукареку! - запел петух, взлетая на забор. - Проснитесь! - У самого глаза еще слипались ото сна, а он уже кричал: - Три курицы погибли от несчастной любви к петуху! Они выщипали себе все перья! Такая гадкая история! Не хочу молчать о ней! Пусть разнесется по всему свету!

- Пусть, пусть! - запищали летучие мыши, закудахтали куры, закричал петух.

- Пусть, пусть!

И история разнеслась со двора во двор, из курятника в курятник и дошла наконец до того места, откуда пошла.

- Пять куриц, - рассказывалось тут, - выщипали себе все перья, чтобы показать, кто из них больше исхудал от любви к петуху! Потом они заклевали друг друга насмерть, в позор и посрамление всему своему роду и в убыток своим хозяевам!

Курице, которая обронила перышко, было и невдомек, что вся эта история про нее, и, как курица во всех отношениях почтенная, она сказала:

- Я презираю этих кур! Но таких ведь много! О подобных вещах нельзя, однако, молчать! И я, со своей стороны, сделаю все, чтобы история эта попала в газеты! Пусть разнесется по всему свету - эти куры и весь их род стоят того!

И в газетах действительно напечатали всю историю, и это истинная правда: из одного перышка совсем не трудно сделать целых пять кур!

Колокол (Пер. А. Ганзен)

По вечерам, на закате солнца, когда вечерние облака отливали между трубами домов золотом, в узких улицах большого города слышен был по временам какой-то удивительный звон, - казалось, звонили в большой церковный колокол. Звон прорывался сквозь говор и грохот экипажей всего на минуту, - уличный шум ведь все заглушает - и люди, услышав его, говорили:

- Ну вот, звонит вечерний колокол! Значит, солнышко садится!

За городом, где домики расположены пореже и окружены садами и небольшими полями, вечернее небо было еще красивее, а колокол звучал куда громче, явственнее.

Казалось, что это звонят на колокольне церкви, схоронившейся где-то в самой глубине тихого, душистого леса. Люди невольно устремляли туда свои взоры, и душой их овладевало тихое, торжественное настроение.

Время шло, и люди стали поговаривать:

- Разве в чаще леса есть церковь? А ведь у этого колокола такой красивый звук, что следовало бы отправиться в лес, послушать его вблизи!

И вот богатые люди потянулись туда в экипажах, бедные - пешком; но дороге, казалось, не было конца, и, достигнув опушки леса, все делали привал в тени росших тут ив и воображали себя в настоящем лесу. Сюда же понаехали из города кондитеры и разбили здесь свои палатки; один из них повесил над входом в свою небольшой колокол: он был без язычка, но зато смазан в защиту от дождя дегтем. Вернувшись домой, люди восторгались романтичностью всей обстановки, - сделать такую прогулку, дескать, не то, что просто пойти куда-нибудь за город напиться чаю! Трое уверяли, что исходили весь лес насквозь и все продолжали слышать чудный звон, но им казалось уже, что он исходит из города. Один написал даже целую поэму, в которой говорилось, что колокол звучит, как голос матери, призывающей своего милого, умного ребенка; никакая музыка не могла сравниться с этим звоном!

Обратил свое внимание на колокол и сам император и даже обещал пожаловать того, кто разузнает, откуда исходит звон, во "всемирные звонари", хотя бы и оказалось, что никакого колокола не было.

Тогда масса народу стала ходить в лес ради того, чтобы добиться обещанного хлебного местечка, но лишь один принес домой более или менее путное объяснение. Никто не проникал в самую чащу леса, да и он тоже, но все-таки он утверждал, что звон производила большая сова, ударяясь головой о дуплистое дерево. Птица эта, как известно, считается эмблемой мудрости, но исходил ли звон из ее головы или из дупла дерева, этого он наверное сказать не мог. И вот его произвели во "всемирные звонари", и он стал ежегодно писать о сове по небольшой статейке. О колоколе же знали не больше прежнего.

И вот как-то раз, в день конфирмации, священник сказал детям теплое слово, и они все были очень растроганы. Это был для них важный день, - из детей они сразу стали взрослыми, более разумными существами, и детским душам их надлежало сразу же преобразиться. Погода стояла чудесная, солнечная, и молодежь отправилась прогуляться за город. Из леса доносились могучие, полные звуки неведомого колокола. Девушек и юношей охватило неудержимое желание пойти разыскать его, и вот все, кроме троих, отправились по дороге к лесу. Одна из оставшихся торопилась домой примерять бальное платье: ведь только ради этого платья и бала, для которого его сшили, она и конфирмовалась в этот именно раз, - иначе ей можно было бы и не торопиться с конфирмацией! Другой, бедный юноша, должен был возвратиться в назначенный час праздничную куртку и сапоги хозяйскому

сыну, у которого он взял их для этого торжественного случая. Третий же просто сказал, что никуда не ходит без родителей, особенно по незнакомым местам, что он всегда был послушным сыном, останется таким же и после конфирмации, и над этим нечего смеяться, - а другие все-таки смеялись.

Итак, молодежь отправилась в путь. Солнце сияло, птички распевали, а молодежь вторила им. Все шли, взявшись за руки; они еще не занимали никаких должностей и все были равны, все были просто конфирманты.

Но скоро двое самых младших устали и повернули назад; две девочки уселись на травке плести венки, а остальные, добравшись до самой опушки леса, где были раскинуты палатки кондитеров, сказали:

- Ну вот, и добрались до места, а колокола ведь никакого на самом деле и нет! Одно воображение!

Но в ту же минуту из глубины леса донесся такой гармоничный, торжественный звон, что четверо-пятеро из них решили углубиться в лес. А лес был густой-прегустой, трудно было и пробираться сквозь чащу деревьев и кустов.

Ноги путались в высоких стеблях дикого яминника и анемонов, дорогу преграждали цепи цветущего вьюнка и ежевики, перекинутые с одного дерева на другое. Зато в этой чаще пел соловей, бегали солнечные зайчики. Ах, здесь было чудо как хорошо! Но не девочкам было пробираться по этой дороге, они бы разорвали тут свои платья в клочки. На пути попадались и большие каменные глыбы, обросшие разноцветным мхом; из-под них, журча, пробивались свежие болтливые струйки источников. Повсюду слышалось их мелодичное "клюк-клюк"!

- Да не колокол ли это? - сказал один из путников, лег на землю и стал прислушиваться. - Надо это расследовать хорошенько!

И он остался; другие дошли дальше.

Вот перед ними домик, выстроенный из древесной коры и ветвей. Высокая лесная яблоня осеняла его своей зеленью и словно собиралась высыпать ему на крышу всю свою благодать плодов. Крыльцо было обвито цветущим шиповником, здесь же висел и маленький колокол. Не его ли это звон доносился до города? Все, кроме одного из путников, так и подумали; этот же юноша сказал, что колокол слишком мал, звон его слишком нежен и не может быть слышен на таком расстоянии. Кроме того, неведомый колокол имел совсем иной звук, хватавший прямо за сердце! Но юноша был королевич, и другие сказали:

- Ну, этот вечно хочет быть умнее всех!

И они предоставили ему продолжать путь одному. Он пошел; и чем дальше шел, тем сильнее проникался торжественным уединением леса. Издали слышался звон колокольчика, которому так обрадовались его товарищи, а время от времени ветер доносил до него и песни и говор компании, распивавшей чай в палатке кондитера, но глубокий, полный звон большого колокола покрывал все эти звуки. Казалось, что это играет церковный орган; музыка слышалась слева, с той стороны, которая ближе к сердцу.

Вдруг в кустах послышался шорох, и перед королевичем появился юноша в деревянных башмаках и в такой тесной и короткой куртке, что рукава едва заходили ему за локти. Оба узнали друг друга; бедный юноша был тот самый, которому надо было торопиться возвратиться хозяйскому сыну праздничную куртку и сапоги. Покончив с этим и надев свою собственную плохонькую куртку и деревянные башмаки, он отправился в лес один: колокол звучал так дивно, что он не мог не пойти!

- Так пойдем вместе! - сказал королевич.

Но бедный юноша был совсем смущен, дергал свои рукава и сказал, что боится не поспеть за королевичем, Да и, кроме того, по его мнению, колокол надо идти искать направо, - все великое и прекрасное всегда ведь держится этой стороны.

- Ну, в таком случае дороги наши расходятся! - сказал королевич и кивнул бедному юноше, который направился в самую чащу леса; терновые колючки рвали его бедную одежду, царапали до крови лицо, и руки, и ноги. Королевич тоже получил несколько добрых царапин, но его дорога все-таки освещалась солнышком, и за ним-то мы и пойдём, - он был brave мальчик!

- Я хочу найти и найду колокол! - говорил он. - Хотя бы мне пришлось идти па край света!

Гадкие обезьяны сидели в ветвях деревьев и скалили зубы.

- Забросаем его чем попало! - говорили они. - Забросаем его: он ведь королевич!

Но он продолжал свой путь, не останавливаясь, и углубился в самую чащу. Сколько росло тут чудных цветов! Белые чашечки лилий с ярко-красными тычинками, небесно-голубые тюльпаны, колеблемые ветром, яблони, отягченные плодами, похожими на большие блестящие мыльные пузыри. Подумать только, как все это блестело на солнце! Попадались тут и чудесные зеленые лужайки, окруженные великолепными дубами и буками. На лужайках резвились олени и лани. Некоторые из деревьев были с трещинами, и из них росли трава и длинные, цепкие стебли вьющихся растений. Были тут и тихие озера; по ним плавали, хлопая белыми крыльями, дикие лебеди. Королевич часто останавливался и прислушивался, - ему казалось порою, что звон раздается из глубины этих тихих озер. Но скоро он замечал, что ошибся, - звон раздавался откуда-то из глубины леса.

Солнце стало садиться, небо казалось совсем огненным, в лесу воцарилась торжественная тишина. Королевич упал на колени, пропел вечерний псалом и сказал:

- Никогда мне не найти того, чего ищу! Вот и солнце заходит, скоро наступит темная ночь. Но мне, может быть, удастся еще раз взглянуть на красное солнышко, прежде чем оно зайдет, если я взберусь на те скалы, - они выше самых высоких деревьев!

И, цепляясь за стебли и корни, он стал карабкаться по мокрым камням, из-под которых выползали ужи, а безобразные жабы точно собирались залаять на него. Он все-таки достиг вершины раньше, чем солнце успело закатиться, и бросил взор на открывшийся перед ним вид. Что за красота, что за великолепие! Перед ним волновалось беспредельное чудное море, а там, где море сливалось с небом, горело, словно большой сияющий алтарь, солнце. Все сливалось, все тонуло в чудном сиянии красок. Лес и море пели, сердце королевича вторило им. Вся природа была одним обширным чудным храмом; деревья и медлительные облака - стройными колоннами, цветы и трава - богатыми коврами, небо - огромным куполом. Яркие, блестящие краски потухали вместе с солнцем, зато вверху зажигались миллионы звезд, миллионы бриллиантовых огоньков, и королевич простер руки к небу, морю и лесу... В ту же минуту справа появился бедный юноша в куртке с короткими рукавами и в деревянных башмаках. Он тоже успел добраться сюда, хотя шел своей дорогой. Юноши бросились друг к другу и обнялись в этом обширном храме природы и поэзии, а над ними все звучал невидимый священный колокол и хоры блаженных духов сливались в одном ликующем "Аллилуйя!"

Красные башмаки (Пер. А. Ганзен)

Жила-была девочка, премиленькая, прехорошенькая, но очень бедная, и летом ей приходилось ходить босиком, а зимою - в грубых деревянных башмаках, которые ужасно натирали ей ноги.

В деревне жила старушка башмачница. Вот она взяла да и сшила, как умела, из обрезков красного сукна пару башмачков. Башмаки вышли очень неуклюжие, но сшиты были с добрым намерением, - башмачница подарила их бедной девочке.

Девочку звали Карен.

Она получила и обновила красные башмаки как раз в день похорон своей матери.

Нельзя сказать, чтобы они годились для траура, но других у девочки не было; она надела их прямо на голые ноги и пошла за убогим соломенным гробом.

В это время по деревне проезжала большая старинная карета и в ней - важная старая барыня.

Она увидела девочку, пожалела и сказала священнику:

- Послушайте, отдайте мне девочку, я позабочусь о ней.

Карен подумала, что все это вышло благодаря ее красным башмакам, но старая барыня нашла их ужасными и велела сжечь. Карен приодели и стали учить читать и шить. Все люди говорили, что она очень мила, зеркало же твердило: "Ты больше чем мила, ты прелестна".

В это время по стране путешествовала королева со своей маленькой дочерью, принцессой. Народ сбегался ко дворцу; была тут и Карен. Принцесса, в белом платье, стояла у окошка, чтобы дать людям посмотреть на себя. У нее не было ни шлейфа, ни короны, зато на ножках красовались чудесные красные сафьяновые башмачки; нельзя было и сравнить их с теми, что сшила для Карен башмачница. На свете не могло быть ничего лучшего этих красных башмачков!

Карен подросла, и пора было ей конфирмоваться; ей сшили новое платье и собирались купить новые башмаки. Лучший городской башмачник снял мерку с ее маленькой ножки. Карен со старой госпожой сидели у него в мастерской; тут же стоял большой шкаф со стеклами, за которыми красовались прелестные башмачки и лакированные сапожки. Можно было залюбоваться на них, но старая госпожа не получила никакого удовольствия: она очень плохо видела. Между башмаками стояла и пара красных, они были точь-в-точь как те, что красовались на ножках принцессы. Ах, что за прелесть! Башмачник сказал, что они были заказаны для графской дочки, да не пришлись по ноге.

- Это ведь лакированная кожа? - спросила старая барыня. - Они блестят!

- Да, блестят! - ответила Карен.

Башмачки были примерены, оказались впору, и их купили. Но старая госпожа не знала, что они красные, - она бы никогда не позволила Карен идти конфирмоваться в красных башмаках, а Карен как раз так и сделала.

Все люди в церкви смотрели на ее ноги, когда она проходила на свое место.

Ей же казалось, что и старые портреты умерших пасторов и пасторш в длинных черных одеяниях и плоеных круглых воротничках тоже уставились на ее красные башмачки. Сама она только о них и думала, даже в то время, когда священник возложил ей на голову руки и стал говорить о святом крещении, о союзе с Богом и о том, что она становится теперь взрослой христианкой.

Торжественные звуки церковного органа и мелодичное пение чистых детских голосов наполняли церковь, старый регент подтягивал детям, но Карен думала только о своих красных башмаках.

После обедни старая госпожа узнала от других людей, что башмаки были красные, объяснила Карен, как это неприлично, и велела ей ходить в церковь всегда в черных башмаках, хотя бы и в старых.

В следующее воскресенье надо было идти к причастию. Карен взглянула на красные башмаки, взглянула на черные, опять на красные и - надела их.

Погода была чудная, солнечная; Карен со старой госпожой прошли по тропинке через поле; было немного пыльно.

У церковных дверей стоял, опираясь на костыль, старый солдат с длинной, странную бородой: она была скорее рыжая, чем седая. Он поклонился им чуть не до земли и попросил старую барыню позволить ему смахнуть пыль с ее башмаков. Карен тоже протянула ему свою маленькую ножку.

- Ишь, какие славные бальные башмачки! - сказал солдат. - Сидите крепко, когда запляшете!

И он хлопнул рукой по подошвам. Старая барыня дала солдату скиллинг и вошла вместе с Карен в церковь.

Все люди в церкви опять глядели на ее красные башмаки, все портреты - тоже. Карен преклонила колена перед алтарем, и золотая чаша приблизилась к ее устам, а она думала только о своих красных башмаках, - они словно плавали перед ней в самой чаше.

Карен забыла пропеть псалом, забыла прочесть "Отче наш".

Народ стал выходить из церкви; старая госпожа села в карету, Карен тоже поставила ногу на подножку, как вдруг возле нее очутился старый солдат и сказал:

- Ишь, какие славные бальные башмачки! Карен не удержалась и сделала несколько па, и тут ноги ее пошли плясать сами собою, точно башмаки имели какую-то волшебную силу. Карен неслась все дальше и дальше, обогнула церковь и все не могла остановиться. Кучеру пришлось бежать за нею вдогонку, взять ее на руки и посадить в карету. Карен села, а ноги ее все продолжали приплясывать, так что доброй старой госпоже досталось немало пинков. Пришлось наконец снять башмаки, и ноги успокоились.

Приехали домой; Карен поставила башмаки в шкаф, но не могла не любоваться на них.

Старая госпожа захворала, и сказали, что она не проживет долго. За ней надо было ухаживать, а кого же это дело касалось ближе, чем Карен. Но в городе давался большой бал, и Карен пригласили. Она посмотрела на старую госпожу, которой все равно было не жить, посмотрела на красные башмаки - разве это грех? - потом надела их - и это ведь не беда, а потом... отправилась на бал и пошла танцевать.

Но вот она хочет повернуть вправо - ноги несут ее влево, хочет сделать круг по зале - ноги несут ее вон из зала, вниз по лестнице, на улицу и за город. Так доплясала она вплоть до темного леса. Что-то засветилось между верхушками деревьев. Карен подумала, что это месяц, так как виднелось что-то похожее на лицо, но это было лицо старого солдата с рыжею бородой. Он кивнул ей и сказал:

- Ишь, какие славные бальные башмачки!

Она испугалась, хотела сбросить с себя башмаки, но они сидели крепко; она только изорвала в клочья чулки; башмаки точно приросли к ногам, и ей пришлось плясать, плясать по полям и лугам, в дождь и в солнечную погоду, и ночью и днем. Ужаснее всего было ночью!

Танцевала она танцевала и очутилась на кладбище; но все мертвые спокойно спали в своих могилах. У мертвых найдется дело получше, чем пляска. Она хотела присесть на одной бедной могиле, поросшей дикою рябинкой, но не тут-то было! Ни отдыха, ни покоя! Она все плясала и плясала... Вот в открытых дверях церкви она увидела ангела в длинном белом одеянии; за плечами у него были большие, спускавшиеся до самой земли крылья. Лицо ангела было строго и серьезно, в руке он держал широкий блестящий меч.

- Ты будешь плясать, - сказал он, - плясать в своих красных башмаках, пока не побледнеешь, не похолодеешь, не высохнешь, как мумия! Ты будешь плясать от ворот до ворот и стучаться в двери тех домов, где живут гордые, тщеславные дети; твой стук будет пугать их! Будешь плясать, плясать!..

- Смилуйся! - вскричала Карен.

Но она уже не слышала ответа ангела - башмаки повлекли ее в калитку, за ограду кладбища, в поле, по дорогам и тропинкам. И она плясала и не могла остановиться.

Раз утром она пронеслась в пляске мимо знакомой двери; оттуда с пением псалмов выносили гроб, украшенный цветами. Тут она узнала, что старая госпожа умерла, и ей показалось, что теперь она оставлена всеми, проклята, ангелом господним.

И она все плясала, плясала, даже темною ночью. Башмаки несли ее по камням, сквозь лесную чащу и терновые кусты, колючки которых царапали ее до крови.

Так доплясала она до маленького уединенного домика, стоявшего в открытом поле. Она знала, что здесь живет палач, постучала пальцем в оконное стекло и сказала:

- Выйди ко мне! Сама я не могу войти к тебе, я пляшу!

И палач отвечал:

- Ты, верно, не знаешь, кто я? Я рублю головы дурным людям, и топор мой, как вижу, дрожит!

- Не руби мне головы! - сказала Карен. - Тогда я не успею покаяться в своем грехе. Отруби мне лучше ноги с красными башмаками.

И она исповедала весь свой грех. Палач отрубил ей ноги с красными башмаками, - пляшущие ножки понеслись по полю и скрылись в чаще леса.

Потом палач приделал ей вместо ног деревяшки, дал костыли и выучил ее псалму, который всегда поют грешники. Карен поцеловала руку, державшую топор, и побрела по полю.

- Ну, довольно я настрадалась из-за красных башмаков! - сказала она. - Пойду теперь в церковь, пусть люди увидят меня!

И она быстро направилась к церковным дверям: вдруг перед нею заплясали ее ноги в красных башмаках, она испугалась и повернула прочь.

Целую неделю тосковала и плакала Карен горькими слезами; но вот настало воскресенье, и она сказала:

- Ну, довольно я страдала и мучилась! Право же, я не хуже многих из тех, что сидят и важничают в церкви!

И она смело пошла туда, но дошла только до калитки, - тут перед нею опять заплясали красные башмаки. Она опять испугалась, повернула обратно и от всего сердца покаялась в своем грехе.

Потом она пошла в дом священника и попросилась в услужение, обещая быть прилежной и делать все, что сможет, без всякого жалованья, из-за куска хлеба и приюта у добрых людей. Жена священника сжалилась над ней и взяла ее к себе в дом. Карен работала не покладая рук, но была тиха и задумчива.

С каким вниманием слушала она по вечерам священника, читавшего вслух Библию! Дети очень полюбили ее, но когда девочки болтали при ней о нарядах и говорили, что хотели бы быть на месте королевы, Карен печально качала головой.

В следующее воскресенье все собрались идти в церковь; ее спросили, не пойдет ли она с ними, но она только со слезами посмотрела на свои костыли.

Все отправились слушать слово Божье, а она ушла в свою каморку. Там умещались только кровать да стул; она села и стала читать псалтырь. Вдруг ветер донес до нее звуки церковного органа. Она подняла от книги свое залитое слезами лицо и воскликнула:

- Помоги мне, Господи!

И вдруг ее всю осияло, как солнцем, - перед ней очутился ангел господень в белом одеянии, тот самый, которого она видела в ту страшную ночь у церковных дверей. Но теперь в руках он держал не острый меч, а чудесную зеленую ветвь, усеянную розами. Он коснулся ею потолка, и потолок поднялся высоко-высоко, а на

том месте, до которого дотронулся ангел, заблестала золотая звезда. Затем ангел коснулся стен - они раздались, и Карен увидела церковный орган, старые портреты пасторов и пасторш и весь народ; все сидели на своих скамьях и пели псалмы. Что это, преобразилась ли в церковь узкая каморка бедной девушки, или сама девушка каким-то чудом перенеслась в церковь?.. Карен сидела на своем стуле рядом с домашними священника, и когда те окончили псалом и увидели ее, то ласково кивнули ей, говоря:

- Ты хорошо сделала, что тоже пришла сюда, Карен!

- По милости Божьей! - отвечала она.

Торжественные звуки органа сливались с нежными детскими голосами хора. Лучи ясного солнышка струились в окно прямо на Карен. Сердце ее так переполнилось всем этим светом, миром и радостью, что разорвалось. Душа ее полетела вместе с лучами солнца к Богу, и там никто не спросил ее о красных башмаках.

На краю моря

(Пер. А. Ганзен)

К Северному полюсу было послано несколько кораблей, чтобы отыскать крайнюю точку земли, на которую может ступить нога человеческая. Уже более года плыли корабли среди туманов и льдов, преодолевая страшные трудности. Но вот наступила зима, солнце скрылось, и настала долгая-долгая полярная ночь. Всё видимое пространство сплошь покрылось льдом, и корабли были словно закованы во льдах. Вся земля была занесена снегом; из него то, и понаделали себе моряки невысоких ульеобразных жилищ. Некоторые из них были большие, величиной с наши древние могильные курганы, другие поменьше, - так что вмещали не больше двух - четырёх человек. Стояла ночь, но было довольно светло. Северное сияние разбрасывало целые снопы красных и голубых искр. Вечный величественный фейерверк! Снег и сверкал, и ночь походила скорее на затянувшийся рассвет. Когда северное сияние горело особенно ярко, к морякам являлись туземцы в диковинных одеждах из тюленьих и оленьих шкур, вывороченных мехом наружу; приезжали они на салазках сбитых из льдин, и привозили груды мехов. Моряки делали себе из них одеяла и постели и, зарывшись, в них, отлично спали под своими снежными кровлями, не чувствуя холода. А на воле в это время трещал такой мороз, о котором мы здесь и понятия не имеем даже в самые суровые зимы. У нас в то время стояла еще осень, и моряки вспоминали среди полярной природы теплое родное солнышко и ярко-жёлтую осеннюю листву.

Часы показывали поздний час вечера, время было ложиться спать. В одном из снежных жилищ двое матросов и улеглись уже. Младший из них привёз с собою из родного дома лучшее его сокровище - Библию, которую подарила ему на прощание бабушка, и ночью книга всегда лежала у юноши под изголовьем. С детства знал он каждое слово в ней, каждый день прочитывал из неё страницу - другую, и не раз, лёжа, как теперь, в постели, вспоминал утешительные слова Священного Писания: «Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, - и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя». Утешенный и подкрепленный верою, он закрыл, глаза, заснул и увидел сон - откровение Божье.

Тело покоилось, душа же бодрствовала и жила напряжённой жизнью. Ему чудилось, что вокруг него. Раздаются звуки знакомых, любимых песен, он чувствовал над собою какое-то тёплое, мягкое веяние, вверху какой-то белый свет, словно струившийся сквозь крышу. Он поднял голову - белое сияние исходило не от стен и

потолка, но лилось от больших крыльев ангела. Матрос взглянул на его светлый лик. Ангел поднялся из страниц Библии, словно из чашечки лилии, распростёр руки, и стены растаяли, как лёгкий туман, Взору моряка открылись зеленые поля и холмы, темно-коричневые леса, чудно освещенные осенним солнышком. Гнёзда аистов уж опустели, но на диких яблонях ещё яблоки, хотя листья и опали. Ярко-красные плоды шиповника горели на солнышке как жар; в маленькой зеленой клетке над окном крестьянской избышки насвистывал свою песенку скворец. Матрос узнал свой дом, свой родной дом! Скворец свистел заученную песенку, а бабушка давала ему свежего мокричника, как, бывало, дельвал ее внук. Молоденькая, хорошенькая дочка кузнеца брала из колодца воду и поклонилась бабушке, а бабушка поманила её к себе письмом. Оно пришло сегодня утром из холодных стран, с дальнего Севера, где находился её внук - под покровом десницы Господней. Женщины плакали и смеялись, читая письмо, а он, осенённый крыльями ангела, видел и слышал всё из своей снежной хижины в минуту духовного просветления, смеялся и плакал вместе с ними! Были прочитаны из его письма и слова Священного Писания: «Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, - и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя». Дивный псалом прозвучал в воздухе, и ангел накрыл спящего своим крылом, словно мягким покрывалом; видение исчезло, в снежном домике стало темно, но Библия по-прежнему лежала под головою матроса, вера и надежда жили в его сердце. И Бог был с ним, и родина с ним всюду, даже «на краю моря».

Ромашка

(Пер. П. Ганзен, А. Ганзен)

Вот послушайте-ка!

За городом, у самой дороги, стояла дача. Вы, верно, видели ее? Перед ней еще небольшой садик, обнесенный крашеною деревянною решеткой. Неподалеку от дачи, у самой канавы, росла в мягкой зеленой траве ромашка. Солнечные лучи грели и ласкали ее наравне с роскошными цветами, которые цвели в саду перед дачей, и наша ромашка росла не по дням, а по часам. В одно прекрасное утро она распустилась совсем - желтое, круглое, как солнышко, сердечко ее было окружено сиянием ослепительно белых мелких лучей-лепестков. Ромашку ничуть не заботило, что она такой бедненький, простенький цветочек, которого никто не видит и не замечает в густой траве; нет, она была довольна всем, жадно тянулась к солнцу, любовалась им и слушала, как поет где-то высоко- высоко в небе жаворонок.

Ромашка была так весела и счастлива, точно сегодня было воскресенье, а на самом-то деле был всего только понедельник; все дети смирно сидели на школьных скамейках и учились у своих наставников; наша ромашка тоже смирно сидела на своем стебельке и училась у ясного солнышка и у всей окружающей природы, училась познавать благодать Божью. Ромашка слушала пение жаворонка, и ей казалось, что в его громких, звучных песнях звучит как раз то, что таится у нее на сердце; поэтому ромашка смотрела на счастливую порхающую певунью птичку с каким-то особым почтением, но ничуть не завидовала ей и не печалилась, что сама не может ни летать, ни петь. "Я ведь вижу и слышу все! - думала она. - Солнышко меня ласкает, ветерок целует! Как я счастлива!"

В садике цвело множество пышных, гордых цветов, и чем меньше они благоухали, тем больше важничали. Пионы так и раздували щеки - им все хотелось стать побольше роз; да разве в величине дело? Пестрее, наряднее тюльпанов никого не было, они отлично знали это и старались держаться возможно прямее, чтобы больше бросаться в глаза. Никто из гордых цветов не замечал маленькой ромашки, росшей где-то у канавы. Зато ромашка часто заглядывалась на них и думала, "Какие

они нарядные, красивые! К ним непременно прилетит в гости прелестная певунья птичка! Слава Богу, что я расту так близко - увижу все, налюбуюсь вдоволь!" Вдруг раздалось "квир-квир-вит!", и жаворонок спустился... не в сад к пионам и тюльпанам, а прямехонько в траву, к скромной ромашке! Ромашка совсем растерялась от радости и просто не знала, что ей думать, как быть!

Птичка прыгала вокруг ромашки и распевала. "Ах, какая славная мягкая травка! Какой миленький цветочек в серебряном платьице, с золотым сердечком!"

Желтое сердечко ромашки и в самом деле сияло, как золотое, а ослепительно белые лепестки отливали серебром. Ромашка была так счастлива, так рада, что и сказать нельзя. Птичка поцеловала ее, спела ей песенку и опять взвилась к синему небу. Прошла добрая четверть часа, пока ромашка опомнилась от такого счастья.

Радостно-застенчиво глянула она на пышные цветы - они ведь видели, какое счастье выпало ей на долю, кому же и оценить его, как не им! Но тюльпаны вытянулись, надулись и покраснели с досады, а пионы прямо готовы были лопнуть! Хорошо, что они не умели говорить - досталось бы от них ромашке. Бедняжка сразу поняла, что они не в духе, и очень огорчилась.

В это время в садике показалась девушка с острым блестящим ножом в руках. Она подошла прямо к тюльпанам и принялась срезать их один за другим. Ромашка так и ахнула. "Какой ужас! Теперь им конец!" Срезав цветы, девушка ушла, а ромашка порадовалась, что росла в густой траве, где ее никто не видел и не замечал. Солнце село, она свернула лепестки и заснула, но и во сне все видела милую птичку и красное солнышко. Утром цветок опять расправил лепестки и протянул их, как дитя ручонки, к светлому солнышку. В ту же минуту послышался голос жаворонка; птичка пела, но как грустно! Бедняжка попала в западню и сидела теперь в клетке, висевшей у раскрытого окна. Жаворонок пел о просторе неба, о свежей зелени полей, о том, как хорошо и привольно было летать на свободе! Тяжело-тяжело было у бедной птички на сердце - она была в плену!

Ромашке всей душой хотелось помочь пленнице, но чем? И ромашка забыла и думать о том, как хорошо было вокруг, как славно грело солнышко, как блестели ее серебряные лепестки; ее мучила мысль, что она ничем не могла помочь бедной птичке.

Вдруг из садика вышли два мальчугана; у одного из них в руках был такой же большой и острый нож, как тот, которым девушка срезала тюльпаны. Мальчики подошли прямо к ромашке, которая никак не могла понять, что им было тут нужно.

- Вот здесь можно вырезать славный кусок дерна для нашего жаворонка! - сказал один из мальчиков и, глубоко запустив нож в землю, начал вырезать четырехугольный кусок дерна; ромашка очутилась как раз в середине его.

- Давай вырвем цветок! - сказал другой мальчик, и ромашка затрепетала от страха: если ее сорвут, она умрет, а ей так хотелось жить! Теперь она могла ведь попасть к бедному пленнику!

- Нет, пусть лучше останется! - сказал первый из мальчиков. - Так красивее!

И ромашка попала в клетку к жаворонку. Бедняжка громко жаловался на свою неволю, метался и бился о железные прутья клетки. А бедная ромашка не умела говорить и не могла утешить его ни словечком. А уж как ей хотелось! Так прошло все утро.

- Тут нет воды! - жаловался жаворонок. - Они забыли дать мне напиться, ушли и не оставили мне ни глоточка воды! У меня совсем пересохло в горлышке! Я весь горю, и меня знобит! Здесь такая духота! Ах, я умру, не видать мне больше ни красного солнышка, ни свежей зелени, ни всего Божьего мира!

Чтобы хоть сколько-нибудь освежиться, жаворонок глубоко вонзил клюв в свежий, прохладный дерн, увидел ромашку, кивнул ей головой, поцеловал и сказал:

- И ты завянешь здесь, бедный цветок! Тебя да этот клочок зеленого дерна - вот что они дали мне взамен всего мира! Каждая травинка должна быть для меня теперь зеленым деревом, каждый твой лепесток - благоухающим цветком. Увы! Ты только напоминаешь мне, чего я лишился!

"Ах, чем бы мне утешить его!" - думала ромашка, но не могла шевельнуть ни листочком и только все сильнее и сильнее благоухала. Жаворонок заметил это и не тронул цветка, хотя повыщипал от жажды всю траву. Вот и вечер пришел, а никто так и не принес бедной птичке воды. Тогда она распустила свои коротенькие крылышки, судорожно затрепетала ими и еще несколько раз жалобно пропищала:

- Пить! Пить!

Потом головка ее склонилась набок, и сердечко разорвалось от тоски и муки.

Ромашка также не могла больше свернуть своих лепестков и заснуть, как накануне: она была совсем больна и стояла, грустно повесив головку.

Только на другое утро пришли мальчики и, увидав мертвого жаворонка, горько-горько заплакали, потом вырыли ему могилку и всю украсили ее цветами, а самого жаворонка положили в красивую красненькую коробочку - его хотели похоронить по-царски! Бедная птичка! Пока она жила и пела, они забывали о ней, оставили ее умирать в клетке от жажды, а теперь устраивали ей пышные похороны и проливали над ее могилкой горькие слезы!

Дерн с ромашкой был выброшен на пыльную дорогу; никто и не подумал о той, которая все-таки больше всех любила бедную птичку и всем сердцем желала ее утешить.

Штопальная игла (Пер. П. Ганзен, А. Ганзен)

Жила-была штопальная игла; она считала себя такой тонкой, что воображала, будто она швейная иголка.

- Смотрите, смотрите, что вы держите! - сказала она пальцам, когда они вынимали ее. - Не уроните меня! Упаду на пол - чего доброго, затеряюсь: я слишком тонка!

- Будто уж! - ответили пальцы и крепко обхватили ее за талию.

- Вот видите, я иду с целой свитой! - сказала штопальная игла и потянула за собой длинную нитку, только без узелка.

- Пальцы ткнули иглу прямо в кухаркину туфлю, - кожа на туфле лопнула, и надо было зашить дыру.

- Фу, какая черная работа! - сказала штопальная игла. - Я не выдержу! Я ломаюсь!

И вправду сломалась.

- Ну вот, я же говорила, - сказала она. - Я слишком тонка!

"Теперь она никуда не годится", - подумали пальцы, но им все-таки пришлось крепко держать ее: кухарка накапала на сломанный конец иглы сургуч и потом заколола ею косынку.

- Вот теперь я - брошка! - сказала штопальная игла. - Я знала, что буду в чести: в ком есть толк, из того всегда выйдет что-нибудь путное.

И она засмеялась про себя, - ведь никто не видал, чтобы штопальные иглы смеялись громко, - она сидела в косынке, словно в карете, и поглядывала по сторонам.

- Позвольте спросить, вы из золота? - обратилась она к соседке-булавке. -

Вы очень милы, и у вас собственная головка... Только маленькая! Постарайтесь ее отрастить, - не всякому ведь достается сургучная головка!

При этом штопальная игла так гордо выпрямилась, что вылетела из платка прямо в раковину, куда кухарка как раз выливала помои.

- Отправляюсь в плавание! - сказала штопальная игла. - Только бы мне не затеряться!

Но она затерялась.

- Я слишком тонка, я не создана для этого мира! - сказала она, лежа в уличной канаве. - Но я знаю себе цену, а это всегда приятно.

И штопальная игла тянулась в струнку, не теряя хорошего расположения духа. Над ней проплывала всякая всячина: щепки, соломинки, клочки газетной бумаги...

- Ишь, как плывут! - говорила штопальная игла. - Они понятия не имеют о том, кто скрывается тут под ними. - Это я тут скрываюсь! Я тут сижу! Вон плывет щепка: у нее только и мыслей, что о щепках. Ну, щепкой она век и останется! Вот соломинка несется... Вертится-то, вертится-то как! Не задирай так носа! Смотри, как бы не наткнуться на камень! А вон газетный обрывок плывет. Давно уж забыть успели, что на нем напечатано, а он, гляди, как развернулся!.. Я лежу тихо, смиренно. Я знаю себе цену, и этого у меня не отнимут!

Раз возле нее что-то заблестело, и штопальная игла вообразила, что это бриллиант. Это был бутылочный осколок, но он блестел, и штопальная игла заговорила с ним. Она назвала себя брошкой и спросила его:

- Вы, должно быть, бриллиант?

- Да, нечто в этом роде.

И оба думали друг про друга и про самих себя, что они настоящие драгоценности, и говорили между собой о невежественности и надменности света.

- Да, я жила в коробке у одной девицы, - рассказывала штопальная игла. -

Девица эта была кухаркой. У нее на каждой руке было по пяти пальцев, и вы представить себе не можете, до чего доходило их чванство! А ведь занятие у них было только одно - вынимать меня и класть обратно в коробку!

- А они блестели? - спросил бутылочный осколок.

- Блестели? - отвечала штопальная игла. - Нет, блеску в них не было, зато сколько высокомерия!.. Их было пять братьев, все - урожденные "пальцы"; они всегда стояли в ряд, хоть и были различной величины. Крайний - Толстяк, - впрочем, отстоял от других, он был толстый коротышка, и спина у него гнулась только в одном месте, так что он мог кланяться только раз; зато он говорил, что если его отрубят, то человек не годится больше для военной службы. Второй - Лакомка - тыкал нос всюду: и в сладкое и в кислое, тыкал и в солнце и в луну; он не нажимал перо, когда надо было писать. Следующий - Долговязый - смотрел на всех свысока. Четвертый - Златоперст - носил вокруг пояса золотое кольцо и, наконец, самый маленький - Пермузыкант - ничего не делает и очень этим гордился. Да, они только и знали, что хвастаться, и вот - я бросилась в раковину.

- А теперь мы сидим и блестим! - сказал бутылочный осколок.

В это время воды в канаве прибыло, так что она хлынула через край и унесла с собой осколок.

- Он продвинулся! - вздохнула штопальная игла. - А я осталась лежать! Я слишком тонка, слишком деликатна, но я горжусь этим, и это благородная гордость!

И она лежала, вытянувшись в струнку, и передумала много дум.

- Я просто готова думать, что родилась от солнечного луча, - так я тонка! Право, кажется, будто солнце ищет меня под водой! Ах, я так тонка, что даже отец мой солнце не может меня найти! Не лопни тогда моё ушко, я бы, кажется, заплакала! Впрочем, нет, плакать неприлично!

Однажды пришли уличные мальчишки и стали копать в канавке, выискивая старые гвозди, монетки и прочие сокровища. Перепачкались они страшно, но это-то и доставляло им удовольствие!

- Ай! - закричал вдруг один из них; он укололся о штопальную иглу. -

Смотри, какая штука!

- Черное на белом фоне очень красиво! - сказала штопальная игла. - Теперь меня хорошо видно! Только бы не поддаться морской болезни, этого я не выдержу: я такая хрупкая!

Но она не поддалась морской болезни - выдержала.

- Я не штука, а барышня! - заявила штопальная игла, но ее никто не расслышал. Сургуч с нее сошел, и она вся почернела, но в черном всегда выглядишь стройнее, и игла воображала, что стала еще тоньше прежнего.

- Вон плывет яичная скорлупа! - закричали мальчишки, взяли штопальную иглу и воткнули в скорлупу.

- Против морской болезни хорошо иметь стальной желудок, и всегда помнить, что ты не то что простые смертные! Теперь я совсем оправилась. Чем ты благороднее, тем больше можешь перенести!

- Крак! - сказала яичная скорлупа: ее переехала ломовая телега.

- Ух, как давит! - завопила штопальная игла. - Сейчас меня стошнит! Не выдержу! Сломаюсь!

Но она выдержала, хотя ее и переехала ломовая телега; она лежала на мостовой, вытянувшись во всю длину, - ну и пусть себе лежит!

На дюнах (Пер. А. Ганзен)

Рассказ пойдет о ютландских дюнах, но начинается он не там, а далеко, далеко на юге, в Испании: море ведь соединяет все страны, перенесись же мыслью в Испанию! Как там тепло, как чудесно! Среди темных лавровых деревьев мелькают пурпуровые гранатные цветы; прохладный ветерок веет с гор на апельсиновые сады и великолепные мавританские галереи, с золочеными куполами и расписными стенами. По улицам двигаются процессии детей, со свечами и развевающимися знаменами в руках, а в вышине над улицами города раскинулось ясное, чистое небо, усеянное сияющими звездами! Льются звуки песен, щелкают кастаньеты, юноши и девушки кружатся в пляске под сенью цветущих акаций; нищий сидит на ступенях мраморной лестницы, утоляет жажду сочным арбузом и затем опять погружается в привычную дремоту, сладкий сон!

Да и все здесь похоже на какой-то чудный сон! Все манит к сладкой лени, к чудным грезам! Таким грезам наяву предавалась и юная новобрачная чета, осыпанная всеми благами земными; все было ей дано: и здоровье, и счастье, и богатство, и почетное положение в обществе.

— Счастливее нас никого и быть не может! — искренне говорили они; и все же им предстояло подняться по лестнице человеческого благополучия еще на одну ступень, если бы Бог даровал им ожидаемое дитя, сына, живое физическое и духовное изображение их самих.

Счастливое дитя! Его бы встретили общее ликование, самый нежный уход и любовь, все благополучие, какое только могут дать человеку богатство и знатная родня.

Вечным праздником была для них жизнь.

— Жизнь — милосердный дар любви, почти слишком великий, необъятный! — сказала супруга. — И представить себе, что эта полнота блаженства должна еще возрасти там, за пределами земной жизни, возрасти до бесконечности!..

Право, я даже не в силах справиться с этой мыслью, до того она необъятна!

— Да она и чересчур самонадеянна! — ответил муж. — Ну, не самонадеянно ли, в сущности, воображать, что нас ожидает вечная жизнь... как богов? Стать подобными богам — ведь эту мысль внушил людям змий, отец лжи!

— Но не сомневаешься же ты в будущей жизни? — спросила молодая супруга, и словно темное облачко скользнуло впервые по безоблачному горизонту их мыслей.

— Религия обещает нам ее, священники подтверждают это обещание! — сказал молодой муж. — Но именно теперь, чувствуя себя на вершине блаженства, я и сознаю, насколько надменно, самонадеянно с нашей стороны требовать после этой жизни еще другой, требовать продолжения нашего блаженства! Разве не дано нам уже здесь, в этой жизни, так много, что мы не только можем, но и должны вполне удовлетвориться ей!

— Да, нам-то дано много, — возразила жена, — но для скольких тысяч людей земная жизнь — сплошное испытание; сколько людей от самого рождения бывают обречены на бедность, унижение, болезни и несчастье! Нет, если бы за этой жизнью не ждала людей другая, земные блага были бы распределены слишком неровно, и Бог не был бы Судьей Всеправедным!

— И у нищего бродяги есть свои радости, по-своему не уступающие радостям короля, владетеля пышного дворца! — ответил молодой человек. — И разве не чувствует, по-твоему, тяжести своей земной участи рабочий скот, которого бьют, морят голодом и работой? Значит, и животное может требовать себе загробной жизни, считать несправедливостью свое низкое положение в ряду других созданий.

— «В доме Отца Моего Небесного есть много обитателей», — сказал Христос! — возразила молодая женщина. — Царство Небесное беспредельно, как и любовь Божия! Животные тоже Его творения, и, по-моему, ни одно живое существо не погибнет, но достигнет той ступени блаженства, на какую только способно подняться!

— Ну, а с меня довольно и этой жизни! — сказал муж и обнял свою красавицу жену. Дым его сигаретки уносился с открытого балкона в прохладный воздух, напоенный ароматом апельсиновых цветов и гвоздики; с улицы доносились звуки песен и шелканье кастаньет; над головами их сияли звезды, а в глаза мужу глядели нежные очи, сияющие огнем бесконечной любви, очи его супруги.

— Да одна такая минута стоит того, чтобы человек родился, пережил ее и — исчез! — продолжал он, улыбаясь; молодая женщина ласково погрозила ему пальчиком, и темное облачко пронеслось — они были чересчур счастливы!

Обстоятельства слагались для них так благоприятно, что жизнь сулила им впереди еще большие блага. Правда, их ждала перемена, но лишь места, а не счастливого образа жизни. Король назначил молодого человека посланником при Императорском Российском Дворе — происхождение и образование делали его вполне достойным такого почетного назначения.

Молодой человек и сам имел состояние, да и молодая супруга принесла ему не меньшее; она была дочерью богатого, уважаемого коммерсанта. Один из самых больших и лучших кораблей последнего как раз должен был в этом году идти в Стокгольм; на нем-то и решили отправить дорогих детей, дочь и зятя, в Петербург. Корабль был разубран с королевской роскошью, всюду мягкие ковры, шелк и бархат...

В одной старинной, всем нам, датчанам, известной песне «об английском королевиче» говорится, как королевич этот отплывает на богато разубранном

корабле, с якорями из чистого золота и шелковыми снастями. Вот об этом-то корабле и вспоминалось, глядя на испанский корабль: та же роскошь: те же мысли при отплытии: О, дай же нам, Боже, счастливо вернуться!

Подул сильный попутный ветер, минута прощания была коротка. Через несколько недель корабль должен был достигнуть конечной цели путешествия. Но когда он был уже далеко от земли, ветер улегся, сияющая ровная поверхность моря, казалось, застыла; вода блестела, звезды сияли, а в богатой каюте, словно праздник шел.

Под конец, однако, все стали желать доброго попутного ветра, но он и не думал являться, если же временами и дул ветер, то не попутный, а встречный. Недели шли за неделями, прошло целых два месяца, пока дождались благоприятного ветра с юго-запада. Корабль находился в это время между Шотландией и Ютландией; ветер надул паруса и понес корабль — совсем как в старинной песне об «английском королевиче»:

*И ветер подул, небеса потемнели;
Куда им укрыться? Где берег, где порт?
Свой якорь на дно золотой опустили,
Но к Дании злобный их ветер несет.*

С тех пор прошло много лет. В те времена на троне Дании сидел юный король Христиан VII; много событий совершилось за это время, многое изменилось, переменилось. Озера и болота стали сочными лугами, степи — обработанными полями, а на западном берегу Ютландии, под защитой стен крестьянских избышек, выросли яблоки и розы. Но их приходится отыскивать глазами: так ловко они прячутся от резкого западного ветра. И все же тут, на этом берегу, легко перенестись мыслью даже во времена еще более отдаленные, нежели царствование Христиана VII: в Ютландии и теперь, как в старину, стелется необозримая бурая степь, родина миражей, усеянная могильными курганами, изрезанная перекрещивающимися, кочковатыми песчаными дорогами.

На западе же, где большие реки впадают в заливы, по-прежнему расстилаются луга и болота, защищенные со стороны моря высокими дюнами. Зубчатые вершины дюн тянутся по берегу, словно горная цепь, прерываемая в иных местах глинистыми откосами; море годы за годами откусывает от них кусок за куском, так что выступы и холмы, наконец, рушатся, точно от землетрясения. Такова была Ютландия и в те времена, когда счастливая чета плыла на богатом корабле.

Сентябрь был на исходе; погода стояла солнечная; было воскресенье; звуки колоколов догоняли друг друга, разносясь вдоль берега Ниссумфиорда. Самые церкви напоминали обтесанные каменные глыбы — каждая была высечена в обломке скалы. Море перекачивало через них свои волны, а они себе стояли да стояли. Большинство из них было без колоколен; колокола, укрепленные между двумя столбами, висели под открытым небом.

Служба в церкви кончилась, и народ высыпал на кладбище, на котором и тогда, как теперь, не виднелось ни деревца, ни кустика, ни цветка, ни даже венка на могилах. Только небольшие холмы указывали места, где покоились усопшие; все кладбище поросло острой, жесткой травой; ветер так и трепал ее. Кое-где на могилах попадались и памятники, то есть полусгнившие обломки бревен, обтесанные в виде гроба. Обломки эти доставлял прибрежный лес — дикое море. В море растут для берегового жителя и готовые балки, и доски, и деревья; доставляет же их на берег прибой. Но ветер и морской туман скоро заставляют их сгнить.

Такой обломок лежал и на детской могилке, к которой направилась одна из женщин, вышедших из церкви. Она стояла молча, устремив взор на полуистлевший деревянный обломок. Немного погодя к ней присоединился ее муж. Они не

обменялись ни словом, он взял ее за руку, и они пошли по бурой степи и болоту к дюнам. Долго шли они молча, наконец муж промолвил:

— Хорошая была сегодня проповедь! Не будь у нас Господа, у нас не было бы ничего!

— Да, — ответила жена, — Он посылает нам радости, Он же посылает и горе! И Он прав всегда... А сегодня нашему мальчугану исполнилось бы пять лет, будь он жив.

— Право, напрасно ты так горюешь! — сказал муж. — Он счастливо отделался и находится теперь там, куда и нам надо проситься у Бога.

Больше они не говорили и направились к дому. Вдруг над одной из дюн, на которой песок не был укреплен никакой растительностью, поднялся как бы столб дыма: сильный вихрь взрыл и закрутил мелкий песок. Затем пронесся новый порыв ветра, и развешанная на веревках для просушки рыба забарабанила в стены дома; потом опять все стихло; солнце так и пекло.

Муж с женой вошли в свою избушку и, живо снимав с себя праздничные платья, поспешили опять на дюны, возвышавшиеся на берегу, словно чудовищные, внезапно остановившиеся на пути, песочные волны. Некоторое разнообразие красок вносили росшие на белом песке голубовато-зеленые острые стебельки песочного овса и песчанки. На берег собрались еще несколько соседей, и мужчины соединенными силами втащили лодки повыше на песок. Ветер все крепчал, становился все резче и холоднее, и, когда муж с женою повернули обратно домой, песок и острые камешки так и полетели им прямо в лицо. Сильные порывы ветра срезывали белые гребешки волн и рассыпали их мелкой пылью.

Свечерело; в воздухе как будто выл, свистел и стонал целый легион проклятых духов; муж с женою не слышали даже грохота моря, а избушка их стояла чуть не на самом берегу. Песок так и летел в оконные стекла, порывы ветра грозили иногда повалить саму избушку. Стемнело, но около полуночи должна была проглянуть луна.

Небо прояснилось, но буря бушевала на море с прежней силой. Муж и жена давным-давно улеглись в постели, но нечего было и думать заснуть в такую непогоду; вдруг в окно к ним постучали, дверь приотворилась, и кто-то сказал:

— На крайнем рифе стоит большой корабль!

В одну минуту муж и жена вскочили и оделись.

Луна светила довольно ярко, но бушующий песочный вихрь слепил глаза. Ветер дул такой, что хоть ложись на него; только с большим трудом, чуть не ползком, пользуясь паузами между порывами урагана, можно было перебраться через дюны. На берег, словно лебяжий пух, летела с моря соленая пена; море с шумом и ревом катило кипящие волны. Надо было иметь опытный глаз, чтобы сразу различить в море судно. Это был великолепный двухмачтовый корабль; его несло к берегу через рифы, но на последнем он сел. Оказать помощь кораблю или экипажу нечего было и думать — море слишком разбушевало, волны нещадно хлестали корпус судна и перекачивались через него... Рыбакам чудились крики и вопли отчаяния; видно было, как люди на корабле беспомощно, растерянно суетились... Вот встал огромный вал и обрушился на бугшприт. Миг — и бугшприта как не бывало; корма высоко поднялась над водою, и с нее спрыгнули в этот момент две обнявшиеся человеческие фигуры, спрыгнули и исчезли в волнах... Миг еще, и — огромная волна выкинула на дюны тело... молодой женщины, по-видимому, бездыханное. Несколько рыбаков окружили ее, и им показалось, что она еще подает признаки жизни. Сейчас перенесли ее в ближайшую избушку. Как хороша и нежна была бедняжка! Верно, знатная дама!

Ее уложили на убогую кровать, без всякого белья, прикрытую одним шерстяным одеялом, но в него-то и следовало укутать незнакомку — чего уж теплее!

Ее удалось вернуть к жизни, но она оказалась в жару и не сознавала ничего: ни того, что случилось, ни того, куда попала. Да и слава Богу: все, что было ей дорого в жизни, лежало теперь на дне морском. Все случилось, как в песне «об английском королевиче»

Ужаснее вида и быть не могло:

Разбилось судно о риф, как стекло.

Море выбросило на берег обломки корабля, из людей же уцелела одна молодая женщина. Ветер все еще выл, но в избушке на несколько мгновений воцарилась тишина: молодая женщина забылась; потом начались боли и крики, она раскрыла свои дивные глаза и сказала что-то, но никто не понял ни единого слова.

И вот в награду за все перенесенные ею страдания в объятиях ее очутилось новорожденное дитя. Его ожидала великолепная колыбель с шелковым пологом, роскошное жилище, ликование, восторги и жизнь, богатая всеми благами земными, но Господь судил иначе: ему довелось родиться в бедной избушке, и даже поцелуя матери не суждено было ему принять.

Жена рыбака приложила ребенка к груди матери, и оно очутилось возле сердца, которое уже перестало биться, – мать умерла. Дитя, которое должно было встретить в жизни одно богатство, одно счастье, было выброшено морем на дюны, чтобы испытать нужду и долю бедняка.

Испанский корабль разбился немного южнее Ниссумфиорда. Жестокие, бесчеловечные времена, когда береговые жители промышляли грабежом потерпевших кораблекрушение, давным-давно миновали. Теперь несчастные встречали тут любовное, сердечное отношение, широкую готовность прийти на помощь. Наше время может гордиться истинно благородными чертами характера!

Умиряющая мать и несчастный ребенок нашли бы приют и уход в любом домике на берегу, но нигде не отнеслись бы к ним участливее, сердечнее, чем в том именно, куда они попали: у бедной рыбаки, так грустно стоявшей вчера возле могилы своего ребенка, которому в этот день должно было бы исполниться пять лет.

Никто не знал, кто такая была умершая женщина или откуда. Корабельные обломки были немые.

В Испании, в доме богатого купца, так никогда и не дождалась ни письма, ни весточки о дочери или зяте. Узнали только, что они не достигли места назначения и что в последние недели на море бушевали страшные бури. Ждали месяцы, наконец пришла весть: «Полное крушение; все погибли».

А в рыбацкой избушке на дюнах появился новый жилец.

Там, где Господь посылает пищу для двоих, хватит и на третьего: на берегу моря хватит рыбы на голодный желудок. Мальчика назвали Юргеном.

– Это, верно, еврейское дитя! – говорили про него. – Ишь, какой черномазый!

– А, может быть, он испанец или итальянец! – сказал священник. Но все эти три народности были в глазах жены рыбака одним и тем же, и она утешалась, что дитя крещено. Ребенок подрастал; благородная кровь питалась бедною пищей; отпрыск благородного рода вырастал в бедной избушке. Датский язык, западно-ютландское наречие, стал для него родным языком. Гранатное зернышко с испанской почвы выросло на западном берегу Ютландии песчинкой.

Вот как может приспособляться человек! Он сросся с новой родиной всеми своими жизненными корнями. Ему суждено было изведать и голод, и холод, и другие невзгоды, но также и радости, выпадающие на долю бедняка.

Детство каждого человека имеет свои радости, которые бросают светлый отблеск на всю его жизнь. В играх и забавах у Юргена недостатка не было.

На морском берегу было чистое раздолье для игр: весь берег был усеян игрушками, выложен, словно мозаикой, разноцветными камешками. Тут попадались

и красные, как кораллы, и желтые, как янтари, и белые, кругленькие, как птичьи яички, словом, всевозможные мелкие обточенные и отшлифованные морем камешки. Высохшие остовы рыб, сухие водоросли и другие морские растения, белевшие на берегу и опутывавшие камни точно тесемками, тоже служили игрушками, забавой для глаз, пищей для ума. Юрген был мальчуган способный, богато одаренный. Как он запоминал разные истории и песни! А уж что за руки у него были, просто золотые! Из камней и ракушек мастерил он кораблики и картинки для украшения стен. Мальчик мог, по словам его приемной матери, выразить свои мысли резьбой на кусочке дерева, а он был еще невелик. Как чудесно звенел его голосок; мелодии так сами собой и лились из его горлышка. Да, много струн было натянуто в его душе: они могли бы зазвучать на весь мир, сложись его судьба иначе, не забрось она его в эту глухую рыбацью деревушку.

Однажды поблизости разбился корабль и на берег выбросило волнами ящик с редкими цветочными луковицами. Некоторые из них были искрошены в похлебку – рыбаки сочли их за съедобные, другие остались гнить на песке. Им не суждено было выполнить свое назначение – развернуть взорам всю скрытую в них роскошь красок. Будет ли Юрген счастливее? Луковицы скоро погибли, его же ожидали долгие годы испытания.

Ни ему, ни кому другому из окружающих никогда и в голову не приходило, что дни тянутся здесь скучно и однообразно: здесь было вдоволь работы и рукам, и глазам, и ушам. Море являлось огромным учебником и каждый день развертывало новую страницу, знакомило береговых жителей то со штилем, то с легким волнением, то с ветром и штормом. Кораблекрушения были крупными событиями, а посещения церкви являлись настоящими праздниками. Из посещений же родных и знакомых особенную радость доставлял семейству рыбака приезд дяди, продавца угрей из Фьяльтринга, что близ Бовбьерга. Он приезжал сюда два раза в год на крашеной тележке, полной угрей; тележка представляла ящик с крышкой и была расписана по красному фону голубыми и белыми тюльпанами; тащила ее пара чалых волов. Юргену позволялось покататься на них.

Торговец угрями был остряк, весельчак и всегда привозил с собою бочонок водки. Всякому доставался полный стаканчик или кофейная чашечка, если не хватало стаканов; даже Юргену, как ни мал он был, давалась порция с добрый наперсток. Надо же выпить, чтобы удержать в желудке жирного угря, говорил торговец и при этом всякий раз рассказывал одну и ту же историю, а если слушатели смеялись, рассказывал ее еще раз с начала. Такая уж слабость у словоохотливых людей! И так как Юрген сам зачастую руководился этой историей и в отрочестве, и даже в зрелом возрасте, то надо и нам познакомиться с нею.

В реке плавали угри; дочери все просились у матери погулять на свободе, подняться вверх по реке, а мать говорила им: «Не заходите далеко! Не то придет гадкий рыбак и всех вас заколет!» Но они все-таки зашли слишком далеко, и из восьми дочерей вернулись к матери только три. Они принялись жаловаться: «Мы только чуть-чуть вышли из дома, как явился гадкий рыбак и заколол сестриц своим трезубцем до смерти!» – «Ну, они еще вернутся к нам!» – сказала мать. «Нет! – ответили дочери, – он ведь содрал с них кожу, разрезал их на куски и зажарил!» – «Вернутся!» – повторила мать. «Да ведь он съел их!» – «Вернутся!» – «Он запил их водкой!» – сказали дочери.

«Ай! Ай! Так они никогда не вернутся! – завывала мать. – Водка хоронит угрей!»

– Вот и следует всегда запивать это блюдо водочкой! – прибавлял торговец.

История эта прошла через вою жизнь Юргена красной нитью, давая обширный материал для забавных острот, поговорок и сравнений. И Юргену по временам

страсть как хотелось выглянуть из дома, погулять по белу свету, а мать его, как и угриная matka, говорила: «На свете много злых людей-рыбаков!»

Ну, а недалеко от дюн, в степи, побывать было можно, и он побывал. Четыре веселых дня осветили собой все его детство; в них отразилась для него вся красота Ютландии, вся радость и счастье родного края. Родителей Юргена пригласили на пир – правда, на похоронный.

Умер один из их состоятельных родственников. Жил он в степи, к северо-востоку от рыбацкой слободки. Родители взяли Юргена с собою.

Миновав дюны, степь и болото, дорога пошла по зеленому лугу, где прорезывает себе путь река Скэрум, изобилующая угрями. В ней-то и жила угриная matka со своими дочками, которых злые люди убили, ободрали и разрезали на куски. Но часто люди поступали не лучше и с себе подобными.

Вот и рыцарь Бугге, о котором говорится в старинной песне, был убит злыми людьми, да и сам он, как ни был добр, собирался убить строителя, что воздвигнул ему толстостенный замок с башнями. Замок этот стоял на том самом месте, где приостановился теперь Юрген со своими родителями, при впадении реки Скэрум в Ниссумфиорд. Валы еще виднелись, и на них остатки кирпичных стен. Рыцарь Бугге, посылая своего слугу в погоню за ушедшим строителем, сказал: «Догони его и скажи: «Мастер, башня падает! Если он обернется, сруби ему голову и возьми деньги, что он получил от меня, а если не обернется, оставь его идти с миром».

Слуга догнал строителя и сказал, что было велено, но тот, не оборачиваясь, ответил: «Башня еще не падает, но некогда придет с запада человек в синем плаще и заставит ее упасть». Так оно и случилось сто лет спустя: море затопило страну, и башня упала, но владелец замка Предбьёрн Гюльденстьерне выстроил себе новую, еще выше прежней; она стоит и посейчас в Северном Восборге.

Мимо последнего им тоже пришлось проходить. Все эти места давно были знакомы Юргену по рассказам, услаждавшим для него долгие зимние вечера, и вот теперь он сам увидел и двор, окруженный двойными рвами, деревьями и кустами, и вал, поросший папоротником. Но лучше всего были здесь высокие липы, достававшие вершинами до крыши и наполнявшие воздух сладким ароматом. В северо-западном углу сада рос большой куст, осыпанный цветами, что снегом. Это была бузина, первая цветущая бузина, которую видел Юрген.

И она да цветущие липы запечатлелись в его памяти на всю жизнь; ребенок запасся на старость воспоминаниями о красоте и аромате родины.

Остальную часть пути совершили гораздо скорее и удобнее: как раз у Северного Восборга, где цвела бузина, Юргена с родителями нагнали другие приглашенные на пир, ехавшие в тележке, и предложили подвезти их. Конечно, всем троим пришлось поместиться позади, на деревянном сундуке, окованном железом, но для них это было все-таки лучше, чем идти пешком. Дорога шла по кочковатой степи; волы, тащившие тележку, время от времени останавливались, встретив среди вереска клочок земли, поросший свежей травкой; солнышко припекало, и над степью курился диковинный дымок. Он вился клубами и в то же время был прозрачнее самого воздуха; казалось, солнечные лучи клубились и плясали над степью.

– Это «Локеман» гонит свое овечье стадо! – сказали Юргену, и ему было довольно: он сразу перенесся в сказочную страну, но не терял из виду и окружающей действительности. Какая тишина стояла в степи! Во все стороны разбегалась необозримая степь, похожая на драгоценный ковер; вереск цвел; кипарисово-зеленый можжевельник и свежие отпрыски дубков выглядывали из него букетами. Так и хотелось броситься на этот ковер поваляться – не будь только тут множества ядовитых гадюк!.. Об них-то, да о волках и пошла речь; последних водилось тут прежде столько, что всю местность звали Волчьей. Старик возница рассказывал, что

в старину, когда еще жив был его покойный отец, лошадям часто приходилось жестоко отбиваться от кровожадных зверей, а раз утром и ему самому случилось набрести на лошадь, попиравшую ногами убитого ей волка, но ноги ее были все изгрызены.

Слишком скоро для мальчика проехали они кочковатую степь и глубокие пески и прибыли в дом, где было полным-полно гостей. Повозки жались друг к другу; лошади и волы пощипывали тощую травку. За двором возвышались песчаные дюны, такие же высокие и огромные, как и в родной слободке Юргена. Как же они попали сюда с берега, ведь оттуда три мили? Ветер поднял и перенес их; у них своя история.

Пропели псалмы, двое-трое старичков и старушек прослезились, а то было очень весело, по мнению Юргена: ешь и пей вволю. Угощали жирными угрями, а их надо было запивать водочкой. «Она удерживает угрей!» — говаривал старик-торговец, и тут крепко держались его слов. Юрген шнырял повсюду и на третий день чувствовал себя тут совсем как дома. Но здесь, в степи, было совсем не то, что у них в рыбацкой слободке, на дюнах: степь так и кишела цветочками и голубицей; крупные, сладкие ягоды прямо топтались ногами, и вереск орошался красным соком.

Там и сям возвышались курганы; в тихом воздухе курился дымок; горит где-нибудь степь — говорили Юргену. Вечером же над степью подымалось зарево — вот было красиво!

На четвертый день поминки кончились, пора было и домой, на приморские дюны. — Наши-то настоящие, — сказал отец, — а в этих никакой силы нет.

Зашел разговор о том, как они попали сюда, внутрь страны. Очень просто. На берегу нашли мертвое тело; крестьяне схоронили его на кладбище, и вслед за тем началась страшная буря, песок погнало внутрь страны, море дико лезло на берег. Тогда один умный человек посоветовал разрыть могилу и поглядеть, не сосет ли покойник свой большой палец. Если да, то это водяной, и море требует его. Могилу разрыли: покойник сосал большой палец; сейчас же взвалили его на телегу, запрягли в нее двух волов, и те как ужаленные помчали ее через степь и болото прямо в море. Песочная метель прекратилась, но дюны как их намело, так и остались стоять внутри страны.

Юрген слушал и сохранял все эти рассказы в своей памяти вместе с воспоминаниями о счастливейших днях детства, о поминках. Да, то ли дело вырваться из дома, увидеть новые места и новых людей! И Юргену предстояло-таки вырваться опять. Ему еще не минуло четырнадцати лет, а он уже нанялся на корабль и отправился по белу свету. Узнал он и погоду, и море, и злых, жестоких людей! Недаром он был юнгой! Скучная пища, холодные ночи, плеть и кулаки — всего пришлось ему отведать. Было от чего иногда вскипеть его благородной испанской крови; горячие слова просились на язык, но умнее было прикусить его, а для Юргена это было то же, что для угря позволить себя ободрать и положить на сковороду.

— Ну, да я возьму свое! — говорил он сам себе.

Довелось ему увидеть и испанский берег, родину его родителей, даже тот самый город, где они жили в счастье и довольстве, но он ведь ничего не знал ни о своей родине, ни о семье, а семья о нем — и того меньше. Парнишке не позволяли даже бывать на берегу, и он ступил на него в первый раз только в последний день стоянки: надо было закупить кое-какие припасы, и его взяли с собою на подмогу.

И вот Юрген, одетый в жалкое платьишко, словно выстиранное в канаве и высушенное в трубе, очутился в городе. Он, уроженец дюн, впервые увидел большой город. Какие высоченные дома, узенькие улицы, сколько народа!

Толпы сновали туда и сюда; по улицам как будто неслась живая река: горожане, крестьяне, монахи, солдаты... Крик, шум, гам, звон бубенчиков на ослах и мулах, звон церковных колоколов, пение и щелканье, стукотня и грохотня: ремесленники

работали на порогах домов, а то так и прямо на тротуарах. Солнце так и пекло, воздух был тяжел и удушлив; Юргену казалось, что он в раскаленной печке, битком набитой жужжащими и гудящими навозными и майскими жуками, пчелами и мухами; голова шла кругом. Вдруг он увидел перед собою величественный портал собора; в полутьме под сводами мерцали свечи, курился фимиам. Даже самый оборванный нищий имел право войти в церковь; матрос, с которым послали Юргена, и направился туда; Юрген за ним. Яркие образа сияли на золотом фоне. На алтаре, среди цветов и зажженных свечей, красовалась Божья Мать с Младенцем Иисусом.

Священники в роскошных облачениях пели, а хорошенькие нарядные мальчики кадили. Вся эта красота и великолепие произвели на Юргена глубокое впечатление; вера и религия его родителей затронули самые сокровенные струны его души; на глазах у него выступили слезы.

Из церкви они направились на рынок, закупили нужные припасы, и Юргену пришлось тащить часть их. Идти было далеко, он устал и приостановился отдохнуть перед большим великолепным домом с мраморными колоннами, статуями и широкими лестницами. Юрген прислонил свою ношу к стене, но явился раззолоченный швейцар в ливрее и, подняв на него палку с серебряным набалдашником, прогнал прочь — его, внука хозяина! Но никто ведь не знал этого; сам Юрген — меньше всех.

Корабль отплыл; опять потянулась та же жизнь: толчки, ругань, недосыпание, тяжелая работа... Что ж, не мешает отведать всего! Это ведь, говорят, хорошо — пройти суровую школу в юности. Хорошо-то, хорошо — если потом ждет тебя счастливая старость!

Рейс кончился, корабль опять стал на якорь в Рингкьебингсфиорде, и Юрген вернулся домой, в рыбацью слободку, но, пока он гулял по свету, приемная мать его умерла.

Настала суровая зима. На море и суше бушевали снежные бури; просто беда была пробираться по степи. Как, в самом деле, разнятся между собою разные страны: здесь леденящий холод и метель, а в Испании страшная жара! И все же, увидав в ясный, морозный день большую стаю лебедей, летевших со стороны моря к Северному Восборгу, Юрген почувствовал, что тут все-таки дышится легче, что тут, по крайней мере, можно насладиться прелестями лета. И он мысленно представил себе степь, всю в цветах, усеянную спелыми, сочными ягодами, и цветущие липы у Северного Восборга... Ах, надо опять побывать там!

Подошла весна, началась ловля рыбы, Юрген помогал отцу. Он сильно вырос за последний год, и дело у него спорилось. Жизнь так и была в нем ключом; он умел плавать и сидя, и стоя, даже кувыркаться в воде, и ему часто советовали остерегаться макрелей — они плавают стадами и нападают на лучших пловцов, увлекают их под воду и пожирают. Вот и конец! Но Юргену судьба готовила иное.

У соседей был сын Мортен; Юрген подружился с ним, и они вместе нанялись на одно судно, которое отплывало в Норвегию, потом в Голландию. Серьезно ссориться между собою им вообще было не из-за чего, но мало ли что случается! У горячих натур руки ведь так и чешутся; случилось это раз и с Юргеном, когда он повздорил с Мортемом из-за каких-то пустяков. Они сидели в углу за капитанской рубкой и ели из одной глиняной миски; у Юргена был в руках нож, и он замахнулся им на товарища, причем весь побледнел и дико сверкнул глазами. А Мортен только промолвил:

— Так ты из тех, что готовы пустить в дело нож? В ту же минуту рука Юргена опустилась; молча доел он обед и взялся за свое дело. По окончании же работ он подошел к Мортену и сказал: «Ударь меня в лицо — я стою! Во мне, право, вечно бурлит через край, точно в горшке с кипятком!»

— Ну, ладно, забудем это! — отвечал Мортен, и с тех пор дружба их стала чуть не вдвое крепче. Вернувшись домой, в Ютландию, на дюны, они рассказывали о жите-бытье на море, рассказали и об этом происшествии. Да, кровь в Юргене бурлила через край, но все же он был славный, надежный «горшок»¹.

— Только не «ютландский» — ютландцем его назвать нельзя! — сострил Мортен.

Оба были молоды и здоровы; оба — парни рослые, крепкого сложения, но Юрген отличался большей ловкостью. На севере, в Норвегии, крестьяне пасут свои стада на горах, где и имеются особые пастушьи шалаши, а на западном берегу Ютландии на дюнах понастроены хижины для рыбаков; они сколочены из корабельных обломков и крыты торфом и вереском; по стенам внутри идут нары для спанья. У каждого рыбака есть своя девушка-помощница; обязанности ее — насаживать на крючки приманки, встречать хозяина, возвращающегося с лова, теплым пивом, готовить ему кушанье, вытаскивать из лодок пойманную рыбу, потрошить ее и проч.

Юрген, отец его и еще несколько рыбаков с их работницами помещались в одной хижине. Мортен жил в ближайшей.

Между девушками была одна по имени Эльза, которую Юрген знал с детства. Оба были очень дружны между собою; в их нравах было много общего, но наружностью они резко отличались: он был смуглый брюнет, а она беленькая; волосы у нее были желтые, как лен, а глаза светло-голубые, как освещенное солнцем море.

Раз они шли рядом; Юрген держал ее руку в своей и крепко пожимал ее. Вдруг Эльза сказала ему:

— Юрген, у меня есть что-то на сердце! Лучше бы мне работать у тебя — ты мне все равно что брат, а Мортен, к которому я нанялась, — мой жених. Не надо только болтать об этом другим!

Песок словно заколыхался под ногами Юргена, но он не проронил ни слова, только кивнул головой: согласен, мол. Большого от него и не требовалось.

Но он-то в ту же минуту почувствовал, что всем сердцем ненавидит Мортена. Чем больше он думал о случившемся — а раньше он никогда так много не думал об Эльзе, — тем яснее становилось ему, что Мортен украл у него любовь единственной девушки, которая ему нравилась, то есть Эльзы; вот оно как теперь выходило!

Стоит посмотреть, как рыбаки переносятся, в свежую погоду, по волнам через рифы. Один из рыбаков стоит на носу, а гребцы не спускают с него глаз, выжидая знака положить весла и отдаться надвигающейся волне, которая должна перенести лодку через риф. Сначала волна поднимает лодку так высоко, что с берега виден киль ее; минуту спустя она исчезает в волнах; не видно ни самой лодки, ни людей, ни мачты; море как будто поглотило все... Но еще минута, и лодка вновь показывается на поверхности по другую сторону рифа, словно вынырнувшее из воды морское чудовище; весла быстро шевелятся — ни дать ни взять ноги животного. Перед вторым, перед третьим рифом повторяется то же самое; затем рыбаки прыгивают в воду и подводят лодку к берегу; удары волны помогают им, подталкивая ее сзади. Не подать вовремя знака, ошибиться минутой, и — лодка разобьется о риф.

«Тогда бы конец и мне, и Мортену!» Эта мысль мелькнула у Юргена, когда они были на море. Отец его вдруг серьезно занемог, лихорадка так и трепала его; между тем лодка приближалась к последнему рифу; Юрген вскочил и крикнул:

— Отец, пусти лучше меня! — и взгляд его скользнул с лица Мортена на волны.

Вот приближается огромная волна... Юрген взглянул на бледное лицо отца и — не мог исполнить злого намерения. Лодка счастливо миновала риф и достигла берега, но злая мысль крепко засела в голове Юргена; кровь в нем так и кипела; со дна души

¹ Так называемая «ютландская посуда», изготавливается из темной глины и отличается огнеупорностью и прочностью. — Примеч. перев.

всплывали разные соринки и волокна, запавшие туда за время дружбы его с Мортеном, но он не мог выпрясть из них цельную нить, за которую бы мог ухватиться, и он пока не приступал к делу. Да, Мортен испортил ему жизнь, он чувствовал это!

Так как же ему было не возненавидеть его? Некоторые из рыбаков заметили эту ненависть, но сам Мортен не замечал ничего и оставался тем же добрым товарищем и словоохотливым – пожалуй, даже чересчур словоохотливым – парнем.

А отцу Юргена пришлось слечь; болезнь оказалась смертельной, и он через неделю умер. Юрген получил в наследство дом на дюнах, правда маленький, но и то хорошо, у Мортена не было и этого.

– Ну, теперь не будешь больше наниматься в матросы! Останешься с нами навсегда! – сказал Юргену один из старых рыбаков.

Но у Юргена как раз было в мыслях другое – ему именно и хотелось погулять по белу свету. У торговца угрями был дядя, который жил в Старом Скагене; он тоже занимался рыболовством, но был уже зажиточным купцом и владел собственным судном. Слыл он милым стариком; у такого стоило послужить. Старый Скаген лежит на крайнем севере Ютландии, далеко от рыбацкой слободки и дюн, но это-то обстоятельство особенно и было по душе Юргену: он не хотел пировать на свадьбе Эльзы и Мортена, а ее готовились сыграть недели через две.

Старый рыбак не одобрял намерения Юргена – теперь у него был собственный дом, и Эльза, наверно, склонится, скорее, на его сторону.

Юрген ответил на это так отрывисто, что не легко было добраться до смысла его речи, но старик взял да и привел к нему Эльзу. Немного сказала она, но все-таки сказала кое-что:

– У тебя дом... Да, тут задумаешься!..

И Юрген сильно задумался.

По морю ходят сердитые волны, но сердце человеческое волнуется иногда еще сильнее; его обуревают страсти. Много мыслей пронеслось в голове Юргена; наконец он спросил Эльзу:

– Если бы у Мортена был такой же дом, кого из нас двоих выбрала бы ты?

– Да ведь у Мортена нет и не будет дома!

– Ну, представь себе, что он у него будет.

– Ну, тогда я, верно, выбрала бы Мортена – люб он мне! Но этим сыт не будешь!

Юрген раздумывал об этом всю ночь. Что такое толкало его, он и сам не мог дать себе отчета, но безотчетное влечение оказалось сильнее его любви к Эльзе, и он повиновался ему – пошел утром к Мортену. То, что Юрген сказал Мортену при свидании, было строго обдуманно им в течение ночи: Он уступил товарищу свой дом на самых выгодных для того условиях, говоря, что сам предпочитает наняться на корабль и уехать. Эльза, узнав обо всем, расцеловала Юргена прямо в губы – ей ведь был люб Мортен.

Юрген собирался отправиться в путь на другой же день рано утром. Но вечером, хотя и было уже поздно, ему вздумалось еще раз навестить Мортена.

Он пошел и на пути, на дюнах, встретил старого рыбака, который не одобрял его намерения уехать. «У Мортена, верно, зашит в штанах утиный клюв, что девушки так льнут к нему!» – сказал старик. Но Юрген прервал разговор, простился и пошел к Мортену. Подойдя поближе, он услышал в доме громкие голоса: у Мортена кто-то был. Юрген остановился в нерешительности – с Эльзой ему вовсе не хотелось встречаться. Подумав хорошенько, он не захотел выслушивать лишний раз изъявлений благодарности Мортена и повернул назад.

Утром, еще до восхода солнца, он связал свой узелок, взял с собой корзинку со съестными припасами и сошел с дюн на самый берег; там идти было легче, чем по

глубокому песку, да и ближе: он хотел пройти сначала в Фьяльтринг к торговцу угрями, благо обещал навестить его.

Ярко синела блестящая поверхность моря; берег был усеян ракушками и раковинками; игрушки, забавлявшие его в детстве, так и хрустели под его ногами. Вдруг из носа у него брызнула кровь — пустячное обстоятельство, но и оно, случается, приобретает важное значение. Две-три крупные капли упали на рукав его рубашки. Он затер их, остановил кровь и почувствовал, что от кровотечения ему стало как-то легче и в голове, и на сердце. В песке вырос кустик морской капусты; он отломил веточку и воткнул ее в свою шляпу.

«Смело, весело вперед! Белый свет посмотреть, выглянуть из дома, как говорили угри. Берегитесь людей! Они злые, убьют вас, разрежут и зажарят на сковороде! — повторил он про себя и рассмеялся: — Ну, я-то сумею сберечь свою шкуру! Смелость города берет!»

Солнце стояло уже высоко, когда он подошел к узкому проливу, соединявшему западное море с Ниссумфиордом. Оглянувшись назад, он увидел вдали двух верховых, а на некотором расстоянии за ними еще нескольких пеших людей; все они, видимо, спешили. Ну да ему-то что за дело? Лодка была у другого берега; Юрген кликнул перевозчика; отчалили, но не успели выехать на середину пролива, как мчавшиеся во весь опор верховые доскакали до берега и принялись кричать, приказывая Юргену именем закона вернуться обратно. Юрген в толк не мог взять, что им от него надо, но рассудил, что лучше всего вернуться, сам взялся за одно весло и принялся грести обратно к берегу. Едва лодка причалила, люди, толпившиеся на берегу, вскочили в нее и скрутили Юргену руки веревкой; он и опомниться не успел.

— погоди! Поплатишься головой за свое злодейство! — сказали они. — Хорошо, что мы поймали тебя!

Обвиняли его ни больше ни меньше, как в убийстве: Мортена нашли с перерезанным горлом. Один из рыбаков встретил вчера Юргена поздно вечером на пути к жилищу Мортена, Юрген уже не раз угрожал последнему ножом — значит, он и убийца! Следовало крепко стеречь его; в Рингкьепинге — самое верное место, да не скоро туда доберешься. Дул как раз западный ветер; в какие-нибудь полчаса, а то и меньше, можно было переправиться через залив и выехать на реку Скэрум, а оттуда уж всего четверть мили до Северного Восборга, где тоже есть крепкий замок с валами и рвами. В лодке был вместе с другими брат старосты, и он полагал, что им разрешат посадить Юргена в яму, где сидела вплоть до самой своей казни Долговязая Маргарита.

Оправданий Юргена не слушали: капли крови на рубашке уличали его. Сам-то он знал, что невинен, но другие этому не верили, и он решил покориться судьбе.

Лодка пристала как раз у того вала, где возвышался некогда замок рыцаря Бугге и где останавливались отдохнуть Юрген и его родители на пути на пир, на поминки. Ах, эти четыре счастливых, светлых дня детства!.. Теперь его вели по той же самой дороге, по тем же лугам, к Северному Восборгу, где по-прежнему стояла осыпанная цветами бузина и цветущие, душистые липы. Он словно только вчера проходил тут.

В левом надворном крыле замка, под одной из высоких лестниц, открывался спуск в низкий сводчатый подвал. Оттуда выведена была на казнь Долговязая Маргарита. Она съела пять детских сердец и думала, что, если съест еще два, приобретет умение летать и делаться невидимкою. В стене была пробита крошечная отдушина, но освежающий аромат душистых лип не мог через нее пробраться. Сырость, плесень, голые доски вместо постели — вот что нашел Юрген в подвале. Но чистая совесть, говорят, мягкая подушка, значит, Юргену спалось хорошо.

Толстая дверь была заложена тяжелым железным болтом, но призраки суеверия проникают и через замочную скважину, проникают и в барские хоромы, и в рыбацьи хижины, а сюда, к Юргену, пробирались и по давню. Он сидел и думал о Долговязой Маргарите, о ее злодеянии... В воздухе как будто витали еще ее последние мысли, мысли, которым она предавалась в ночь перед казнью.

Приходили Юргену на ум и рассказы о чудесах, какие совершались тут при жизни помещика Сванведеля: собаку, сторожившую мост, каждое утро находили повешенной на цепи на перилах моста. Все эти мрачные мысли осаждали и пугали Юргена, и лишь одно воспоминание озаряло подвал солнечным лучом — воспоминание о цветущей бузине и липах.

Впрочем, недолго сидел он тут; его перевели в Рингкьепинг, в такое же суровое заточение.

В те времена было не то, что в наше; плохо приходилось бедному человеку. У всех еще в памяти было, как крестьянские дворы и целые селения обращались в новые господские поместья, как любой кучер или лакей становился судьей и присуждал бедняка крестьянина за самый ничтожный проступок к лишению надела или к плетям. Кое-что подобное и продолжало еще твориться в Ютландии: вдали от королевской резиденции и просвещенных блюстителей порядка и права с законом поступали довольно произвольно. Так это было еще с полгоря, что Юргену пришлось потомиться в заключении.

Что за холод стоял в помещении, куда его засадили! Когда же будет конец всему этому? Он невинен, а его предали позору и бедствиям — вот его судьба! Да, тут он мог поразмыслить о ней на досуге. За что она так преследовала его?.. Все выяснится там, в будущей жизни, которая ждет нас всех! Юрген вырос с этой верой. То, чего не мог уяснить себе отец, окруженный роскошной, залитой солнцем природой Испании, то светило отрадным лучом сыну среди окружавшего его мрака и холода. Юрген твердо уповал на милость Божию, а это упование никогда не бывает обмануто.

Весенние бури опять давали себя знать. Грохот моря слышен был на много миль кругом, даже в глубине страны, но лишь после того, как буря улеглась. Море грохотало, словно катились по твердому, взрытому грунту сотни тяжелых телег. Юрген чутко прислушивался к этому грохоту, который вносил в его жизнь хоть какое-нибудь разнообразие. Никакая старинная песня не доходила так до его сердца, как музыка катящихся волн, голос бурного моря.

Ах, море, дикое, вольное море! Ты да ветер носите человека из страны в страну, и всюду он носится вместе с домом своим, как улитка, всюду носит с собою часть своей родины, клочок родной почвы!

Как прислушивался Юрген к глухому ропоту волн и как в нем самом волновались мысли и воспоминания! «На волю! На волю!» На воле — рай, блаженство, даже если на тебе башмаки без подошв и заплатанное грубое платье! Кровь вскипала в нем от гнева, и он ударял кулаком о стену.

Так проходили недели, месяцы, прошел и целый год. Вдруг поймали вора Нильса, по прозвищу «барышник», и для Юргена настали лучшие времена: выяснилось, как несправедливо с ним поступили.

К северу от Рингкьепинского залива была корчма; там-то и встретились вечером, накануне ухода Юргена из слободки, Нильс и Мортен.

Выпили по стаканчику, выпили по другому, и Мортен не то чтобы опьянел, а так... разошелся больно, дал волю языку — рассказал, что купил дом и собирается жениться. Нильс спросил, где он взял денег, и Мортен хвастливо ударил по карману:

— Там, где им и следует быть!

Хвастовство стоило ему жизни. Он пошел домой, Нильс прокрался за ним и всадил ему в шею нож, чтобы отобрать деньги, которых не было.

Все эти обстоятельства были изложены в деле подробно, но с нас довольно знать, что Юргена выпустили на волю. Ну, а чем же вознаградили его за все, что он вытерпел: годовое заключение, холод и голод, отторжение от людей?

Да вот, ему сказали, что он, слава Богу, невинен и может уходить. Бургомистр дал ему на дорогу десять марок, а несколько горожан угостили пивом и хорошей закуской. Да, водились там и добрые люди, не все одни такие, что готовы заколоть, ободрать да на сковородку положить! Лучше же всего было то, что в город приехал в это время по делам тот самый купец Бренне из Скагена, к которому Юргену хотелось поступить год тому назад. Купец узнал всю историю и захотел вознаградить Юргена за все перенесенное им; сердце у старика было доброе, он понял, чего должен был натерпеться бедняга, и собирался показать ему, что есть на свете и добрые люди.

Из темницы — на волю, на свет Божий, где его ожидали любовь и сердечное участие! Да, пора ему было испытать и это. Чаша жизни никогда не бывает наполнена одной полынью — такой не поднесет ближнему ни один добрый человек, а уж тем меньше сам Господь — Любовь Всеобъемлющая.

— Ну, поставь-ка ты над всем этим крест! — сказал купец Юргену. — Вычеркнем этот год, как будто его и не было, сожжем календарь и через два дня — в путь, в наш мирный, богоспасаемый Скаген! Его зовут «медвежьим углом», но это уголок уютный, благословенный, с открытыми окнами на белый свет!

Вот была поездка! Юрген вздохнул полной грудью. Из холодной темницы, из душного, спертого воздуха вновь очутиться на ярком солнышке! Вереск цвел, вся степь была в цветах; на кургане сидел пастушонок и наигрывал на самодельной дудочке из бараньей кости. Фата-Моргана, чудные воздушные видения степи: висячие сады и плавающие в воздухе леса, диковинное колебание воздушных волн — явление, о котором крестьяне говорят: «Это Локеман гонит свое стадо» — все это увидел он вновь.

Путь их лежал к Лимфиорду, к Скагену, откуда вышли «длиннобородые люди», лонгобарды. В царствование короля Снию здесь был голод, и порешили избить всех стариков и детей, но благородная женщина Гамбарук, владелица одного из северных поместий, предложила лучше выселить молодежь из пределов страны. Юрген знал это предание — настолько-то он был учен — и если не знал вдобавок и самой страны лонгобардов, лежащей за высокими Альпами, то знал, по крайней мере, на что она приблизительно похожа. Он ведь еще мальчуганом побывал на юге, в Испании, и помнил сваленные грудями плоды, красные гранаты, шум, гам и колокольный звон в огромном городе, напоминавшем собою улей. Но самой лучшей страной остается все-таки родина, а родиной Юргена была Дания.

Наконец, они достигли и Вендиль-Скага, как называется Скаген в старинных норвежских и исландских рукописях. Уже и в те времена тянулась здесь по отмели, вплоть до маяка, необозримая цепь дюн, прерываемая обработанными полями, и находились города: Старый Скаген, Вестербю и Эстербю. Дома и усадьбы и тогда были рассыпаны между наносными, подвижными песчаными холмами, и тогда взметал буйный ветер ничем не укрепленный песок, и тогда оглушительно кричали здесь чайки, морские ласточки и дикие лебеди. Старый Скаген, где жил купец Бренне и должен был поселиться Юрген, лежит на милю юго-западнее мыса Скагена. Во дворе купца пахло дегтем; крышами на всех надворных строениях служили перевернутые вверх дном лодки; свиные хлева были сколочены из корабельных обломков; двор не был огорожен — не от кого и нечего было огораживать, хотя на длинных веревках, развешанных одна над другою, и сушилась распластанная рыба. Весь морской берег был покрыт гнилыми сельдями: не успевали закинуть в море невод, как он приходил битком набитый сельдями; их и девать было некуда — приходилось бросать обратно в море или оставлять гнить на берегу.

Жена и дочь купца и все домочадцы радостно встретили отца и хозяина, пошло пожиманье рук, крики, говор. А что за славное личико и глазки были у дочки купца!

В самом доме было просторно и уютно. На столе появились рыбные блюда – такие камбалы, какими бы полакомился сам король! А вина были из скагенских виноградников из великого моря: виноградный сок притекает в Скаген прямо в бочках и бутылках.

Когда же мать и дочь узнали, кто такой Юрген, услышали, как жестоко и безвинно пришлось ему пострадать, они стали смотреть на него еще ласковее; особенно ласково смотрела дочка, милая Клара. Юрген нашел в Старом Скагене уютный, славный семейный очаг; теперь сердце его могло успокоиться, а много-таки этому бедному сердцу пришлось изведать, даже горечь несчастной любви, которая либо ожесточает его, либо делает еще мягче, чувствительнее. Сердце Юргена не ожесточилось, оно было еще молодо, и теперь в нем оставалось незанятое местечко. Кстати, поэтому подросла поездка Клары в гости к тетке, в Христианзанд, в Норвегию. Она собиралась отправиться туда на корабле недели через три и прогостить там всю зиму.

В последнее воскресенье перед отъездом Клары все отправились в церковь причащаться. Церковь была большая, богатая; построили ее несколько столетий тому назад шотландцы и голландцы; недалеко от нее выстроился и самый город. Церковь уже несколько обветшала, а дорога к ней вела очень тяжелая, с холма на холм, то вверх, то вниз, по глубокому песку, но жители все-таки охотно шли в Божий храм пропеть псалмы и послушать проповедь. Песочные заносы достигали уже вершины кладбищенской ограды, но могилы постоянно очищались.

Это была самая большая церковь к северу от Лимфиорда. На алтаре словно живая стояла Божья Матерь с Младенцем на руках; на хорах помещались резные деревянные изображения апостолов, а наверху, по стенам, висели портреты старых скагенских бургомистров и судей; под каждым портретом красовалась условная подпись данного лица. Кафедра тоже была вся резная. Солнце весело играло на медной люстре и на маленьком кораблике, подвешенном к потолку. Юргена охватило то же чувство детского благоговения, которое он испытал еще мальчиком в богатом соборе в Испании, но здесь к этому чувству присоединилось еще сознание, что и он принадлежит к пастве.

После проповеди началось причащение. Юрген тоже вкусил хлеба и вина, и случилось так, что он преклонил колена как раз рядом с Кларою. Но мысли его были обращены к Богу, он всецело был занят совершавшимся таинством и заметил, кто была его соседка, только тогда, когда уже встал с колен. Взглянув на нее, он увидел, что по щекам ее струились слезы.

Два дня спустя она уехала в Норвегию, а Юрген продолжал исправлять разные работы по дому, участвовал и в рыбной ловле, а в те времена там-таки было что ловить – побольше, чем теперь. Стада макрелей оставляли за собою по ночам светящийся след, выдававший их движения под водою; керцы (рыба - *cottus scorpius*) хрипели, а крабы издавали жалобный вой, когда попадались ловцам; рыбы вовсе не так немые, как о них рассказывают. Вот Юрген, тот был помолчаливее их, хранил свою тайну глубоко в сердце, но когда-нибудь и ей суждено было всплыть наружу.

Сидя по воскресеньям в церкви, он набожно устремлял взоры на изображение Божьей Матери, красовавшееся на алтаре, но иногда переводил их не надолго и на то место, где стояла рядом с ним на коленях Клара. Она не выходила у него из головы... Как она была добра к нему!

Вот и осень пришла: сырость, мгла, слякоть... Вода застаивалась на улицах города, песок не успевал ее всасывать, и жителям приходилось пускаться по улицам вброд, если не вплавь. Бури разбивали о смертоносные рифы корабль за кораблем.

Начались снежные и песочные метели; песок заносил дома, и обывателям приходилось зачастую вылезать из них через дымовые трубы, но им это было не в диковинку. Зато в доме купца было тепло и уютно; весело трещали в очаге торф и корабельные обломки, а сам купец громко читал из старинной хроники сказание о датском принце Амлете, вернувшемся из Англии и давшем битву у Бовбьерга. Могила его находится близ Раммэ, всего милях в двух от того места, где жил старый торговец угрями; в необозримой степи возвышались сотни курганов; степь являлась огромным кладбищем. Купец Бренне сам бывал на могиле Амлета. Наскучит читать, принимались за беседу; толковали о старине, о соседях англичанах и шотландцах, и Юрген пел старинную песню «об английском королевиче», о том, как был разубран корабль:

*Борта золоченые ярко сияют,
Написано слово Господне на них;
А нос корабля галион украшает:
Принц девицу держит в объятьях своих.*

Эту песню Юрген пел с особенным чувством; глаза его так и блестели; они уж с самого рождения были у него такие черные, блестящие. Итак – пели, читали; в доме царила тишь да гладь да Божья благодать; все чувствовали себя, как в родной семье, даже домашние животные. А уж что за порядок был в доме, что за чистота! На полках блестела ярко вычищенная оловянная посуда, к потолку были подвешены колбасы и окорока – обильные зимние запасы. В наши времена все это можно увидеть на западном берегу Ютландии у многих крестьян: такое же обилие съестных припасов, такое же убранство в горницах, веселье и здравый смысл; вообще дела у них поправились. И гостеприимство здесь царит такое же, как в шатрах арабов. Никогда еще не жилось Юргену так хорошо, так весело, если не считать тех веселых четырех дней детства, проведенных в гостях на поминках. А между тем здесь еще не было Клары; то есть не было ее дома, а в мыслях и разговорах она присутствовала постоянно.

В апреле купец решил послать в Норвегию свое судно; на нем отправлялся и Юрген. Вот-то повеселел он! Ну, да и в теле он за это время поправился, как говорила сама матушка Бренне; приятно было взглянуть на него.

– И на тебя тоже! – сказал ей муж. – Юрген оживил наши зимние вечера, да и тебя, старушка! Ты даже помолодела за этот год. Ишь, какая стала – любо посмотреть! Ну да ведь ты и была когда-то первою красавицей в Виборге, а это много значит: нигде я не видал таких красивых девушек, как там.

Юрген не проронил ни слова – да и не следовало, – а только подумал об одной девушке из Скагена. К ней-то он и отправлялся теперь. Судно, подгоняемое свежим ветром, пробыло в пути всего полдня.

Рано утром купец Бренне отправился на маяк, что возвышается далеко в море, близ самой крайней точки мыса Скагена. Когда он поднялся на вышку, огонь был уже давно потушен, солнце стояло высоко. На целую милю от берега тянулись в море песчаные мели. На горизонте показалось в этот день много кораблей, и купец надеялся с помощью подзорной трубы отыскать между ними и свою «Карен Бренне». В самом деле, она приближалась; на ней были и Клара с Юргеном. Вот они уже увидели вдали Скагенский маяк и церковную колокольню, казавшиеся издали цаплей и лебедем на голубой воде. Клара сидела у борта и смотрела, как на горизонте вырисовывались одна за другою родные дюны. Продолжай дуть попутный ветер, они бы меньше чем через час были дома. Так близка была радость встречи – так близок был и ужасный час смерти.

В одном из боков судна сделалась пробоина, и вода хлынула в трюм. Бросились выкачивать воду, затыкать отверстие, подняли все паруса, выкинули флаг,

означавший, что судно в опасности. До берега оставалось плыть всего какую-нибудь милю, вдали уже показались рыбацьи лодки, спешившие на помощь, ветер гнал судно к берегу, течение помогало, но судно погружалось в воду с ужасающей быстротой. Юрген обвил правой рукой стан Клары.

Как она посмотрела ему в глаза перед тем, как он, призывая имя Божие, бросился с нею в волны! Она вскрикнула, но ей нечего было бояться – он не выпустит ее.

Принц девицу держит в объятиях своих!

Юрген тоже решил на это в час страшной опасности. Умение плавать пригодилось ему теперь; он то работал обеими ногами и свободной рукой – другой он крепко прижимал к себе девушку, то отдавался течению, лишь слегка шевеля ногами, словом, пользовался всеми приемами, какие знал, чтобы сберечь силы и достигнуть берега. Вдруг он почувствовал, что Клара глубоко вздохнула и судорожно затрепетала... Он прижал ее к себе еще крепче. Волны перекатывались через их головы; течение подымало их; вода была так чиста и прозрачна. Одну минуту ему казалось, что он видит в глубине стадо блестящих макрелей или, может быть, это было само морское чудовище, готовившееся поглотить их... Облака, проплывая по небу, бросали на воду легкую тень, потом на ней опять играли лучи солнца. Стаи птиц с криком носились над головой Юргена; сонливо покачивавшиеся на волнах дикие утки при его приближении испуганно взлетали кверху. А силы пловца все падали... Он чувствовал это; до берега оставалось плыть еще немало, но помощь была близка, лодка подходила. Вдруг он ясно увидел под водой белую, смотревшую на него в упор, фигуру... Волна подхватила его, фигура приблизилась... Он почувствовал удар... все померкло в глазах!..

На рифе под водой засел обломок корабля с галионом, изображавшим женщину, опиравшуюся на якорь. Об его-то острие, торчавшее кверху, и ударился Юрген, подгоняемый течением. Без чувств погрузился он в воду вместе со своей ношей, но следующая волна опять вскинула их кверху.

Рыбаки втащили обоих в лодку; лицо Юргена было все в крови; он лежал, как мертвый, но девушку держал так крепко, что ее едва высвободили у него из рук. Безжизненную, бледную положили ее на дно лодки, направлявшейся к Скагену.

Были пущены в ход все средства, но вернуть Клару к жизни не удалось. Давно уже плыл Юрген с трупом в объятиях, боролся и изнемогал, спасая мертвую.

А сам Юрген еще дышал, и его отнесли в ближайший дом, за дюнами. Какой-то фельдшер, бывший в то же время и кузнецом и мелочным торговцем, перевязал его рану в ожидании лекаря, за которым послали в Гьерринг.

У больного был затронут мозг; он лежал в бреду, испуская дикие крики, но на третий день впал в забытие. Жизнь, казалось, висела в нем на волоске, и, по словам лекаря, лучше было бы, если бы волосок этот порвался.

– Дай Бог, чтобы он умер! Ему не бывать больше человеком! Но он не умер, волосок не порвался; зато порвалась нить воспоминаний, были подрезаны в корне все умственные способности – вот что ужасно! Осталось одно тело, которое готовилось выздороветь и жить по-своему. Купец Бренне взял Юргена к себе.

– Он пострадал, спасая наше дитя! – сказал старик. – Теперь он наш сын. Юргена стали звать полоумным. Но это было не совсем верно; он походил на инструмент с ослабевшими, переставшими звучать, струнами. Лишь на какое-нибудь мгновение, в редкие минуты, они обретали прежнюю упругость и звучали, да и то раздавалось всего несколько отдельных аккордов старых мелодий. Картины прошлого всплывали и опять исчезали, и Юрген снова сидел, бессмысленно вперив в пространство неподвижный взор. Надо думать, что он, по крайней мере, не страдал. Черные глаза утратили свой блеск, смотрели безжизненными, тусклыми.

«Бедный, слабоумный Юрген!» – говорили про него.

Так вот до чего дожило дитя, которое мать носила под сердцем для жизни, богатой счастьем, что было бы непростительной гордостью желать, не говоря уже – ожидать за пределами ее другой! Итак, все богатые способности души пошли прахом? Нужда, горе и бедствие были его уделом; он, как роскошная цветочная луковица, был выдернут из богатой почвы и брошен на песок – гнить! Разве не достойно было лучшей участи творение, созданное «по образу и подобию» самого Бога? Разве все на свете лишь игра пустых случайностей? Нет! Милосердный Господь несомненно готовил ему в другой жизни награду за все, что он выстрадал в этой. «Милосердие Божие превыше всех дел Его!» – эти слова псалмопевца с верою повторяла благочестивая жена купца, и сердечной молитвой ее была молитва о скорейшем переселении Юргена в царство Божьей милости, где царит вечная жизнь. Клару похоронили на кладбище, которое все больше и больше заносило песком. Но Юрген, казалось, и не сознавал этого; это не входило в узкую сферу его мыслей; они ловили только обрывки прошлого. Каждое воскресенье сопровождал он семейство купца в церковь и сидел смиренно, уставившись перед собою бессмысленным взором. Но однажды, слушая пение псалмов, он вздохнул, глаза его заблестели и остановились на том месте близ алтаря, где он год тому назад стоял на коленях рядом со своей умершей возлюбленной. Он назвал ее имя, побледнел, как полотно, и заплакал.

Ему помогли выйти из церкви, и он сказал, что ему совсем хорошо. Он уже не помнил, что с ним случилось, не помнил ничего. Да, Господь тяжело испытывал его! Но может ли кто сомневаться в мудрости и милосердии Творца Нашего? Наше сердце, наш разум говорят нам о Его мудрости и милосердии, а Библия подтверждает: «Милосердие Его превыше всех дел Его!»

А в Испании, где теплый ветерок ласкает апельсиновые и лавровые деревья, веет на мавританские золоченые купола, где льются звуки песен, щелкают кастаньеты, где по улицам движутся процессии детей со свечами и развевающимися знаменами, сидел в роскошном доме бездетный старик, богатейший купец. Чего ни отдал бы он из своего богатства, чтобы только вернуть своих детей, дочь или ее ребенка, которому, может быть, и не суждено было увидеть света, а, следовательно, и жизни вечной? «Бедное дитя!»

Да, бедное дитя! Именно дитя, хотя ему и шел уже тридцатый год; вот до какого возраста дожил Юрген в Скагене.

Песочные заносы уже покрывали кладбище до самой стены церкви, но умирающие все же хотели быть погребенными рядом с ранее отошедшими в вечность, родными и милыми их сердцу. Купец Бренне и его жена тоже легли под белый песок возле своей дочери.

Пришла весна, время бурь; дюны курились, море высоко вздымало волны, птицы тучами летали над дюнами, испуская крики. О рифы разбивался корабль за кораблем.

Однажды вечером Юрген сидел в комнате один, и в его груди вдруг вспыхнуло какое-то беспокойное влечение, стремление вдаль, которое так часто увлекало его еще в детстве из дома на дюны и в степь.

«Домой, домой!» – твердил он; никто не слышал его; он вышел из дома и направился на дюны; песок и мелкие камешки летели ему в лицо, крутились вокруг него столбами. Вот он дошел до церкви. Песок занес всю стену и даже окна до половины, но проход к дверям был прочищен. Двери не были заперты и легко отворились; Юрген вошел.

Ветер выл над городом; разразился страшный ураган, какого не помнили жители, но Юрген был уже в доме Божиим. Вокруг стояла темная ночь, а на душе у него было

светло, в ней разгорался духовный огонь, который никогда не потухает совсем. Он почувствовал, что тяжелая глыба, давившая его голову, вдруг с треском свалилась. Ему чудились звуки органа, но это была буря и стонало море. Юрген сел на свое место; церковь осветилась огнями; одна свеча вспыхивала за другою; такой блеск он видел только раз в жизни, в испанском соборе. Старые портреты бургомистров и судей ожили, сошли со стен, где висели годы, и заняли места на хорах. Церковные ворота и двери растворились, и вошли все умершие прихожане в праздничных платьях, какие носили в их время. Они шествовали под звуки чудной музыки и усаживались на свои места. Хор запел псалмы; мощными волнами полились звуки. Старики, приемные родители Юргена, купец Бренне с женою, тоже были тут, а рядом с Юргеном сидела и милая, любящая дочь их Клара. Она протянула Юргену руку, и они пошли вместе к алтарю, преклонили колена, и священник соединил их руки, благословил их жить в мире и любви!.. Раздались звуки труб; полные звуки блаженно рыдали, словно сотни детских голосов, разрастались в мощные, возвышающие душу, бурные аккорды органа и снова переходили в нежные, чарующие, но вместе с тем способные потрясти могильные склепы!

Кораблик, что висел под потолком, спустился вниз, стал вдруг таким большим, великолепно разубранным, с шелковыми парусами, золочеными реями, золотыми якорями и шелковыми канатами, как тот корабль, о котором поется в старинной песне. Новобрачные взошли на корабль, все остальные прихожане — за ними; всем нашлось место, всем было хорошо. Стены и своды церковные зацвели, как бузина и душистые липы, и ласково протянули к кораблю свои ветви и листья, сплелись над ним зеленой беседкой. Корабль поднялся и поплыл по воздуху. Все свечи в церкви превратились в звездочки, ветер пел псалмы, пели и самые небеса:

«Любовь! Блаженство! Ни одна жизнь не погибнет, но спасется! Блаженство! Аллилуйя!..» Слова эти и были последними словами Юргена: порвалась нить, удерживавшая бессмертную душу... В темной церкви лежало только безжизненное тело, а вокруг нее по-прежнему бушевала буря, вихрем крутился песок.

Следующий день был воскресный; утром прихожане и священник отправились в храм. Трудно было туда пробираться: дорога сделалась почти непроходимой. Наконец, добрались, но... церковные двери оказались заваленными песком; перед ними возвышался целый холм. Священник прочел краткую молитву и сказал, что Господь закрыл для них дверь этого Своего дома, и им надо воздвигнуть Ему в другом месте новый.

Пропели псалом и разошлись по домам.

Юргена не нашли ни в городе, ни на дюнах, где ни искали, и решили, что его смыло волнами.

А его тело почивало в грандиозной гробнице — в самом храме. Господь повелел буре забросать его гроб землей, и он остается под тяжелым песчаным покровом и поныне.

Пески покрыли величественные своды храма, и над ним растут теперь терн и дикие розы. Из песков выглядывает лишь одна колокольня — величественный памятник над могилой Юргена, видный издали за несколько миль. Ни один король не удостоивался более великолепного памятника! Никто не нарушит покоя умершего; никто и не знает или, по крайней мере, не знал до сих пор, где он погребен. Мне же рассказал обо всем ветер, разгуливающий над дюнами.

Ангел (Пер. А. Ганзен)

Каждый раз, как умирает доброе, хорошее дитя, с неба спускается Божий ангел, берет дитя на руки и облетает с ним на своих больших крыльях все его любимые места. По пути они набирают целый букет разных цветов и берут их с собою на небо, где они расцветают еще пышнее, чем на земле. Бог прижимает все цветы к своему сердцу, а один цветок, который покажется ему милее всех, целует; цветок получает тогда голос и может присоединиться к хору блаженных духов.

Все это рассказывал Божий ангел умершему ребенку, унося его в своих объятиях на небо; дитя слушало ангела, как сквозь сон. Они пролетали над теми местами, где так часто играло дитя при жизни, пролетали над зелеными садами, где росло множество чудесных цветов.

- Какие же взять нам с собою на небо? - спросил ангел.

В саду стоял прекрасный, стройный розовый куст, но чья-то злая рука надломил его, так что ветви, усыпанные крупными полураспустившимися бутонами, почти совсем завяли и печально повисли.

- Бедный куст! - сказала дитя.- Возьмем его, чтобы он опять расцвел там, на небе.

Ангел взял куст и так крепко поцеловал дитя, что оно слегка приоткрыло глазки. Потом они нарвали еще много пышных цветов, но, кроме них, взяли и скромный златоцвет и простенькие анютины глазки.

- Ну вот, теперь и довольно! - сказал ребенок, но ангел покачал головой и они полетели дальше.

Ночь была тихая, светлая; весь город спал, они пролетали над одной из самых узких улиц. На мостовой валялись солома, зола и всякий хлам: черепки, обломки алебаstra, тряпки, старые донышки от шляп, словом, все, что уже отслужило свой век или потеряло всякий вид; накануне как раз был день переезда.

И ангел указал на валявшийся среди этого хлама разбитый цветочный горшок, из которого вывалился ком земли, весь оплетенный корнями большого полевого цветка: цветок завял и никуда больше не годился, его и выбросили.

- Возьмем его с собой! - сказал ангел.- Я расскажу тебе про этот цветок, пока мы летим!

И ангел стал рассказывать.

- В этой узкой улице, в низком подвале, жил бедный больной мальчик. С самых ранних лет он вечно лежал в постели; когда же чувствовал себя хорошо, то проходил на костылях по своей каморке раза два взад и вперед, вот и все. Иногда летом солнышко заглядывало на полчаса и в подвал; тогда мальчик садился на солнышке и, держа руки против света, любовался, как просвечивает в его тонких пальцах алая кровь; такое сидение на солнышке заменяло ему прогулку. О богатом весеннем уборе лесов он знал только потому, что сын соседа приносил ему весной первую распутившуюся буковую веточку; мальчик держал ее над головой и переносился мыслью под зеленые буки, где сияло солнышко и распевали птички. Раз сын соседа принес мальчику и полевых цветов, между ними был один с корнем; мальчик посадил его в цветочный горшок и поставил на окно близ своей кровати. Видно, легкая рука посадила цветок: он принялся, стал расти, пускать новые отростки, каждый год цвел и был для мальчика целым садом, его маленьким земным сокровищем. Мальчик поливал его, ухаживал за ним и заботился о том, чтобы его не миновал ни один луч, который только пробирался в каморку.

Ребенок жил и дышал своим любимцем, ведь тот цвел, благоухал и хорошел для него одного. К цветку повернулся мальчик даже в ту последнюю минуту, когда его

отзывал к себе Господь Бог... Вот уже целый год, как мальчик у Бога; целый год стоял цветок, всеми забытый, на окне, завял, засох и был выброшен на улицу вместе с прочим хламом. Этот-то бедный, увядший цветок мы и взяли с собой: он доставил куда больше радости, чем самый пышный цветок в саду королевы.

- Откуда ты знаешь все это? - спросило дитя.

- Знаю! - отвечал ангел.- Ведь я сам был тем бедным калекою мальчиком, что ходил на костылях! Я узнал свой цветок!

И дитя широко-широко открыло глазки, вглядываясь в прелестное, радостное лицо ангела. В ту же самую минуту они очутились на небе у Бога, где царят вечные радость и блаженство. Бог прижал к своему сердцу умершее дитя - и у него выросли крылья, как у других ангелов, и он полетел рука об руку с ними. Бог прижал к сердцу и все цветы, поцеловал же только бедный, увядший полевой цветок, и тот присоединил свой голос к хору ангелов, которые окружали Бога; одни летали возле него, другие подальше, третьи еще дальше, и так до бесконечности, но все были равно блаженны. Все они пели - и малые, и большие, и доброе, только что умершее дитя, и бедный полевой цветочек, выброшенный на мостовую вместе с сором и хламом.

Анне Лисбет
(Пер. А. Ганзен)

Анне Лисбет была красавица, просто кровь с молоком, молодая, веселая. Зубы сверкали ослепительною белизной, глаза так и горели; легка была она в танцах, еще легче в жизни! Что же вышло из этого? Дрянной мальчишка! Да, некрасив-то он был, некрасив! Его и отдали на воспитание жене землекопа, а сама Анне Лисбет попала в графский замок, поселилась в роскошной комнате; одели ее в шелк да в бархат. Ветерок не смел на нее пахнуть, никто - грубого слова сказать: это могло расстроить ее, она могла заболеть, а она ведь кормила грудью графчика! Графчик был такой нежный, что твой принц, и хорош собою, как ангелочек. Как Анне Лисбет любила его! Ее же собственный сын ютился в избушке землекопа, где не каша варилась, а больше языки трещали, чаще же всего мальчишка орал в пустой избушке один-одинешенек.

Никто не слышал его криков, так некому было и пожалеть! Кричал он, пока не засыпал, а во сне не чувствуешь ведь ни голода, ни холода; сон вообще чудесное изобретение! Годы шли, а с годами и сорная трава вырастает, как говорится; мальчишка Анне Лисбет тоже рос, как сорная трава. Он так и остался в семье землекопа, Анне Лисбет заплатила за это и развязалась с ним окончательно. Сама она стала горожанкой, жилось ей отлично, она даже носила шляпки, но к землекопу с женой не заглядывала никогда - далеко было, да и нечего ей было у них делать! Мальчишка принадлежал теперь им, и так как есть-то он умел, говорили они, то и должен был сам зарабатывать себе на харчи. Пора было ему взяться за дело, вот его и приставили пасти рыжую корову Мадса Йенсена.

Цепной пес на дворе белильщика гордо сидит в солнечные дни на крыше своей конуры и лает на прохожих, а в дождь забирается в конуру; ему там и сухо и тепло. Сынишка Анне Лисбет сидел в солнечные дни у канавы, стругая кол, и мечтал: весною он приметит три цветка земляники, - «наверно, из них выйдут ягоды!» Мысль эта была его лучшую радостью, но ягоды не поспели. В дождь и непогоду он промокал до костей, а резкий ветер просушивал его.

Если же случалось ему забраться на барский двор, его угощали толчками и пинками; он такой дрянной, некрасивый, говорили девушки и парни, и он уже привык не знать ни любви, ни ласки!

Так как же сынку Анне Лисбет жилось на белом свете? Что выпало ему на долю? Не зная ни любви, ни ласки!

Наконец его совсем сжили с земли - отправили в море на утлом судне. Он сидел на руле, а шкипер пил. Грязен, прожорлив был мальчишка; можно было подумать, что он отроду досыта не наедаясь! Да так оно и было.

Стояла поздняя осень, погода была сырая, мглистая, холодная; ветер пронизывал насквозь, несмотря на толстое платье, особенно на море. А в море плыло однопарусное утлое судно всего с двумя моряками на борту, можно даже сказать, что их было всего полтора: шкипер да мальчишка. Весь день стояли мглистые сумерки, к вечеру стало еще темнее; мороз так и щипал.

Шкипер принялся прихлебывать, чтобы согреться; бутылка не сходила со стола, рюмка - тоже; ножка у нее была отбита, и вместо нее к рюмке приделана деревянная, выкрашенная в голубой Цвет подставка. «Один глоток - хорошо, два - еще лучше», - думал шкипер. Мальчик сидел на руле, держась за него обеими жесткими, запачканными в дегте руками.

Некрасив он был: волоса жесткие, унылый, забитый вид... Да, вот каково приходилось мальчишке землекопа, по церковным книгам - сыну Анне Лисбет.

Ветер резал волны по-своему, судно по-своему! Парус надулся, ветер подхватил его, и судно понеслось стрелою. Сырость, мгла... Но этим еще не кончилось! Стоп!.. Что такое? Что за толчок? Отчего судно взметнулось? Что случилось? Вот оно завертелось... Что это, хлынул ливень, обдало судно волною?.. Мальчик-рулевой вскрикнул: «Господи Иисусе!» Судно налетело на огромный подводный камень и погрузилось в воду, как старый башмак в канаву, потонуло «со всеми людьми и мышами», как говорится. Мышей-то на нем было много, а людей всего полтора человека: шкипер да сынишка землекопа. Никто не видал крушения, кроме крикливых чаек и рыб морских, да и те ничего не разглядели хорошенько, испуганно метнувшись в сторону, когда вода с таким шумом ворвалась в затонувшее судно. И затонуло-то оно всего на какую-нибудь сажень! Скрыты были под водой шкипер и мальчишка, скрыты и позабыты! На поверхность всплыла только рюмка с голубою деревянною подставкой, - подставка-то и заставила всплыть рюмку. Волны понесли ее и, разбив, выкинули на берег. Когда, где? Не все ли равно; она отслужила свой век, была любима, не то что сын Анне Лисбет! Но, вступив в небесные чертоги, ни одной душе не приходится больше жаловаться на то, что ей суждено было век не зная ни любви, ни ласки!

Анне Лисбет жила в городе уже много лет, и все звали ее «сударыней». А уж как подымала она нос, если речь заходила о старых временах, когда она жила в графском доме, разъезжала в карете и имела случай разговаривать с графинями да баронессами! И что за красавчик, ангелочек, душка был ее графчик! Как он любил ее, и как она его! Они целовали друг друга, гладили друг друга; он был ее радостью, половиной ее жизни.

Теперь он уж вырос, ему было четырнадцать лет, и он обучался разным наукам. Но она не видала его с тех пор, как еще носила на руках; ни разу за все это время она не побывала в графском замке: далеко было, целое путешествие!

- Когда-нибудь да все-таки надо собраться! - сказала Анне Лисбет. - Надо же мне взглянуть на мое сокровище, моего графчика! И он-то, верно, соскучился обо мне, думает обо мне, любит по-прежнему! Бывало, уцепится своими ручонками за мою шею да и лепечет: «Ан Лис!» Голосок - что твоя скрипка! Да, надо собраться взглянуть на него!

И она отправилась; где проедет конец дороги на возке с телятами, где пешком пройдет, так помаленьку и добралась до графского замка. Замок был все такой же огромный, роскошный; перед фасадом по-прежнему расстилался сад, но слуги все

были новые. Ни один из них не знал Анне Лисбет, не знал, что она значила когда-то здесь, в доме. Ну, да сама графиня скажет им, объяснит всё, и графчик тоже. Как она соскучилась по нем!

Ну, вот Анне Лисбет и вошла. Долго пришлось ей ждать, а когда ждешь, время тянется еще дольше! Перед тем как господам сесть за стол, ее позвали к графине, которая приняла ее очень благосклонно. Дорогого же графчика своего Анне Лисбет могла увидеть только после обеда. Господа откушали, и ее позвали опять.

Как он вырос, вытянулся, похудел! Но глазки и ротик все те же! Он взглянул на нее, но не сказал ни слова. Он, кажется, не узнал ее. Он уже повернулся, чтобы уйти, как она вдруг схватила его руку и прижала ее к губам. «Ну, ну, хорошо, хорошо!» - сказал он и вышел из комнаты. Он, ее любовь, ее гордость, сокровище, так холодно обошелся с нею!

Анне Лисбет вышла из замка очень печальная, Он встретил ее как чужую, он совсем не помнил ее, не сказал ей ни слова, ей, своей кормилице, носившей его на руках день и ночь, носившей его и теперь в мыслях!

Вдруг прямо перед ней слетел на дорогу большой черный ворон, каркнул раз, потом еще и еще.

- Ах ты зловещая птица! - сказала Анне Лисбет. Пришлось ей идти мимо избушки землекопа; на пороге стояла сама хозяйка, и женщины заговорили.

- Ишь ты, как раздобрела! - сказала жена землекопа. - Толстая, здоровая!

Хорошо живется, видно!

- Ничего себе! - ответила Анне Лисбет.

- А судно-то с ними погибло! - продолжала та. - Оба утонули - и шкипер Ларс и мальчишка! Конец! А я-то думала, мальчишка вырастет, помогать станет нам! Тебе-то ведь он грош стоил, Анне Лисбет!

- Так они потонули! - сказала Анне Лисбет, и больше они об этом не говорили. Она была так огорчена - графчик не удостоил ее разговором! А она так любила его, пустилась в такой дальний путь, чтобы только взглянуть на него, в такие расходы вошла!.. Удовольствия же - на грош. Но, конечно, она не проговорила о том ни словом, не захотела излить сердца перед женою землекопа: вот еще! Та, пожалуй, подумает, что Анне Лисбет больше не в почете у графской семьи!.. Тут над ней опять каркнул ворон.

- Ах ты черное пугало! - сказала Анне Лисбет. - Что ты все пугаешь меня сегодня!

Она захватила с собою кофе и цикорию; отсыпать щепотку на угощение жене землекопа значило бы оказать бедной женщине сущее благодеяние, а за компанию и сама Анне Лисбет могла выпить чашечку. Жена землекопа пошла варить кофе, а Анне Лисбет присела на стул да задремала. И вот диковина: во сне ей приснился тот, о ком она никогда и не думала! Ей приснился собственный сын, который голодал и ревел в этой самой избушке, рос без призора, а теперь лежал на дне моря, бог ведает где. Снилось ей, что она сидит, где сидела, и что жена землекопа ушла варить кофе; вот уже вкусно запахло, как вдруг в дверях появился прелестный мальчик, не хуже самого графчика, и сказал ей: «Теперь конец миру! Держись за меня крепче - все-таки ты мне мать! У тебя есть на небесах ангел-заступник! Держись за меня!» И он схватил ее; в ту же минуту раздался такой шум и гром, как будто мир лопнул по всем швам. Ангел взвился на воздух и так крепко держал ее за рукав сорочки, что она почувствовала, как отделяется от земли. Но вдруг на ногах ее повисла какая-то тяжесть, и что-то тяжелое навалилось на спину.

За нее цеплялись сотни женщин и кричали: «Если ты спасешься, так и мы тоже! Цепляйтесь за нее, цепляйтесь!» И они крепко повисли на ней. Тяжесть была слишком велика, рукав затрещал и разорвался, Анне Лисбет полетела вниз. От ужаса

она проснулась и чуть было не упала со стула. В голове у нее была путаница, она и вспомнить не могла, что сейчас видела во сне, - что-то дурное!

Попили кофе, поговорили, и Анне Лисбет направилась в ближний городок; там ждал ее крестьянин, с которым она хотела нынче же вечером доехать до дому. Но когда она пришла к нему, он сказал, что не может выехать раньше вечера следующего дня. Она порассчитала, что будет ей стоить прожить в городе лишний день, пораздумала о дороге и сообразила, что если она пойдет не по проезжей дороге, а вдоль берега, то выиграет мили две. Погода была хорошая, ночи стояли светлые, лунные, Анне Лисбет и порешила идти пешком.

На другой же день она могла уже быть дома. Солнце село, но колокола еще звонили... Нет, это вовсе не колокола звонили, а лягушки квакали в прудах. Потом и те смолкли; не слышно было и птичек: маленькие певчие улеглись спать, а совы, должно быть, не было дома.

Безмолвно было и в лесу и на берегу. Анне Лисбет слышала, как хрустел под ее ногами песок; море не плескалось о берег; тихо было в морской глубине: ни живые, ни мертвые не подавали голоса. Анне Лисбет шла, как говорится, не думая ни о чем; Да, она-то могла обойтись без мыслей, но мысли-то не хотели от нее отстать. Мысли никогда не отстают от нас, хотя и выдаются минуты, когда они спокойно дремлют в нашей душе, дремлют как те, что уже сделали свое дело и успокоились, так и те, что еще не просыпались в нас. Но настает час, и они просыпаются, начинают бродить в нашей голове, заполняют нас.

«Доброе дело и плод приносит добрый!» - сказано нам. «А в грехе - зародыш смерти», - это тоже сказано. Много вообще нам сказано, но многие ли об этом помнят? Анне Лисбет по крайней мере к таким не принадлежала. Но для каждого рано или поздно наступает минута просветления.

В нашем сердце, во всех сердцах, и в моем и в твоём, скрыты зародыши всех пороков и всех добродетелей. Лежат они там крошечными, невидимыми семенами; вдруг в сердце проникает солнечный луч или прикасается к нему злая рука, и ты сворачиваешь вправо или влево - да, вот этот-то поворот и решает все: маленькое семечко встряхивается, разбухает, пускает ростки, и сок его смешивается с твоею кровью, а тогда уж дело сделано. Страшные это мысли! Но пока человек ходит как в полусне, он не сознает этого, мысли эти только смутно бродят в его голове. В таком-то полусне бродила и Анне Лисбет, а мысли, в свою очередь, начинали бродить в ней! От сретения до сретения сердце успевает занести в свою расчетную книжку многое; на страницах ее ведется годовая отчетность души; все внесено туда, все то, о чем сами мы давно забыли: все наши грешные слова и мысли, грешные перед Богом и людьми и перед нашею собственною совестью! А мы и не думаем о них, как не думала и Анне Лисбет. Она ведь не совершила преступления против государственных законов, слыла почтенною женщиной, все уважали ее, о чем же ей было думать?

Она спокойно шла по берегу, вдруг... что это лежит на дороге?! Она остановилась. Что это выброшено на берег? Старая мужская шапка. Как она попала сюда? Видно, смыло ее за борт. Анне Лисбет подошла ближе и опять остановилась... Ах! Что это?! Она задрожала от испуга, а пугаться-то вовсе было нечего: перед ней лежал большой продолговатый камень, опутанный водорослями, - на первый взгляд казалось, что на песке лежит человек.

Теперь она разглядела ясно и камень и водоросли, но страх ее не проходил. Она пошла дальше, и ей припомнилось поверье, которое она слышала в детстве, поверье о береговике, призраке непогребенных утопленников. Сам утопленник никому зла не делает, но призрак его преследует одинокого путника, цепляется за него и требует христианского погребения. «Цепляйся! Цепляйся!» - кричит призрак. Как только Анне

Лисбет припомнила это, в ту же минуту ей вспомнился и весь ее сон. Она, словно наяву услышала крик матерей, цеплявшихся за нее: «Цепляйтесь! Цепляйтесь!» Вспомнила она, как рушился мир, как разорвался ее рукав, и она вырвалась из рук своего сына, хотевшего поддержать ее в час Страшного суда. Ее сын, ее собственное, родное, нелюбимое дитя, о котором она ни разу не вспоминала, лежал теперь на дне моря и мог явиться ей в виде берегового призрака с криком: «Цепляйся! Цепляйся! Зарой меня в землю по-христиански!» От этих мыслей у нее даже в пятках закололо, и она прибавила шагу. Ужас сжимал ее сердце, словно кто давил его холодной, влажной рукой. Она готова была лишиться чувств.

Туман над морем между тем все густел и густел; все кусты и деревья на берегу тоже были окутаны туманом и приняли странные, диковинные очертания. Анне Лисбет обернулась взглянуть на месяц. У, какой холодный, мертвенный блеск, без лучей! Словно какая-то страшная тяжесть навалилась на Анне Лисбет, члены ее не двигались. «Цепляйся, цепляйся!» - пришло ей на ум.

Она опять обернулась взглянуть на месяц, и ей показалось, что его бледный лик приблизился к ней, заглянул ей в самое лицо, а туман повис у нее на плечах, как саван. Она прислушалась, ожидая услышать: «Цепляйся! Цепляйся! Зарой меня!» - и в самом деле раздался какой-то жалобный, глухой стон... Это не лягушка квакнула в пруде, не ворона каркнула - их не было видно кругом. И вот ясно прозвучало: «Зарой меня!» Да, это призрак ее сына, лежащего на дне морском. Не знаять ему покоя, пока его тело не отнесут на кладбище и не предадут земле! Скорее, скорее на кладбище, надо зарыть его! Анне Лисбет повернула по направлению к церкви, и ей сразу стало легче. Она было хотела опять повернуть назад, чтобы кратчайшей дорогой добраться до дому, - не тут-то было! На нее опять навалилась та же тяжесть. «Цепляйся! Цепляйся!» Опять словно квакнула лягушка, жалобно прокричала какая-то птица, и явственно прозвучало: «Зарой меня! Зарой меня!»

Холодный, влажный туман не редел; лицо и руки Анне Лисбет тоже были холодны и влажны от ужаса. Все тело ее сжимало, как в тисках; зато в голове образовалось обширное поле для мыслей - таких, каких она никогда прежде не знавала.

Весной на севере буковые леса, бывает, распускаются в одну ночь; взойдет солнышко, и они уже в полном весеннем уборе. Так же, в одну секунду, может пустить ростки и вложенное в нас нашею прошлую жизнью - мыслью, словом или делом - семя греха; и в одну же секунду может грех сделаться для нас видимым, в ту секунду, когда просыпается наша совесть. Пробуждает ее Господь, и как раз тогда, когда мы меньше всего того ожидаем. И тогда нет для нас оправдания: дело свидетельствует против нас, мысли облекаются в слова, а слова звучат на весь мир. С ужасом глядим мы на то, что носили в себе, не стараясь заглушить, на то, что мы в нашем высокомерии и легкомыслии сеяли в своем сердце. Да, в тайнике сердца кроются все добродетели, но также и все пороки, и те и другие могут развиваться даже на самой бесплодной почве.

У Анне Лисбет бродило в мыслях как раз то, что мы сейчас высказали словами; под бременем этих мыслей она опустилась на землю и проползла несколько шагов. «Зарой меня! Зарой меня!» - слышалось ей. Она лучше бы зарылась в могилу сама - в могиле можно было найти вечное забвение! Настал для Анне Лисбет серьезный, страшный час пробуждения совести. Суеверный страх бросал ее то в озноб, то в жар. Много, о чем она никогда и думать не хотела, теперь пришло ей на ум. Беззвучно, словно тень от облачка в яркую лунную ночь, пронеслось мимо нее видение, о котором она слыхала прежде. Близко-близко мимо нее промчалась четверка фыркающих коней; из очей и ноздрей их сверкало пламя; они везли горевшую как жар карету, а в ней сидел злой помещик, который больше ста лет тому назад

бесчинствовал тут, в окрестностях. Рассказывали, что он каждую полночь въезжает на свой двор и сейчас же поворачивает обратно. Он не был бледен, как, говорят, бывают все мертвецы, но черен как уголь. Он кивнул Анне Лисбет и махнул рукой: «Цепляйся, цепляйся! Тогда опять сможешь ездить в графской карете и забыть свое дитя!»

Анне Лисбет опрометью бросилась вперед и скоро достигла кладбища. Черные кресты и черные вороны мелькали у нее перед глазами. Вороны кричали, как тот ворон, которого она видела днем, но теперь она понимала их карканье.

Каждый кричал: «Я воронья мать! Я воронья мать!» И Анне Лисбет знала, что это имя подходит и к ней: и она, быть может, превратится вот в такую же черную птицу и будет постоянно кричать, как они, если не успеет вырыть могилы.

Она бросилась на землю и руками начала рыть в твердой земле могилу; кровь брызнула у нее из-под ногтей.

«Зарой меня! Зарой меня!» - звучало без перерыва. Анне Лисбет боялась, как бы не раздалось пение петуха, не показалась на небе красная полоска зари, прежде чем она выроет могилу, - тогда она погибла! Но вот петух пропел, загорелась заря, а могила была вырыта только наполовину!.. Холодная, ледяная рука скользнула по ее голове и лицу, соскользнула на сердце.

«Только полмогилы!» - послышался вздох, и видение опустилось на дно моря.

Да, это был береговой призрак! Анне Лисбет, подавленная, упала на землю без сознания, без чувств.

Она пришла в себя только среди бела дня; двое парней подняли ее с земли. Анне Лисбет лежала вовсе не на кладбище, а на самом берегу моря, где выкопала в песке глубокую яму, до крови порезав себе пальцы о разбитую рюмку; острый осколок ее был прикреплен к голубой деревянной подставке.

Анне Лисбет была совсем больна. Совесть перетасовала карты суеверия, разложила их и вывела заключение, что у Анне Лисбет теперь только половина души: другую половину унес с собою на дно моря ее сын. Не попасть ей в Царство Небесное, пока она не вернет себе этой половины, лежащей в глубине моря! Анне Лисбет вернулась домой уже не тем человеком, каким была прежде; мысли ее словно смотались в клубок, и только одна нить осталась у нее в руках: мысль, что она должна отнести береговой призрак на кладбище и предать его земле - тогда она опять обретет всю свою душу.

Много раз схватывались ее по ночам и всегда находили на берегу, где она ожидала береговой призрак. Так прошел целый год. Однажды ночью она опять исчезла, но найти ее не могли; весь следующий день прошел в бесплодных поисках.

Под вечер пономарь пришел в церковь звонить к вечерне и увидел перед алтарем расprostертую на полу Анне Лисбет. Тут она лежала с раннего утра; силы почти совсем оставили ее, но глаза сияли, на лице горел розоватый отблеск заходящего солнца; лучи его падали и на алтарь и играли на блестящих застежках Библии, которая была раскрыта на странице из книги пророка Иоиля: «Раздерите сердца ваши, а не одежды, и обратитесь к Господу!»

- Ну, случайно так вышло! - говорили потом люди, как и во многих подобных случаях.

Лицо Анне Лисбет, освещенное солнцем, дышало ясным миром и спокойствием; ей было так хорошо! Теперь у нее отлегло от сердца: ночью береговой призрак ее сына явился ей и сказал: «Ты вырыла только полмогилы для меня, но вот уж год ты носишь меня в своем сердце, а в сердце матери самое верное убежище ребенка!» И он вернул ей другую половину ее души и привел ее сюда, в церковь.

«Теперь я в Божьем доме, - сказала она, - а тут спасение!» Когда солнце село, душа ее вознеслась туда, где нечего бояться тому, кто здесь боролся и страдал до конца, как Анне Лисбет.

Девочка со спичками (Пер. Ю. Яхниной)

Как холодно было в этот вечер! Шел снег, и сумерки сгущались. А вечер был последний в году - канун Нового года. В эту холодную и темную пору по улицам брела маленькая нищая девочка с непокрытой головой и босая. Правда, из дому она вышла обутая, но много ли было проку в огромных старых туфлях?

Туфли эти прежде носила ее мать - вот какие они были большие, - и девочка потеряла их сегодня, когда бросилась бежать через дорогу, испугавшись двух карет, которые мчались во весь опор. Одной туфли она так и не нашла, другую утащил какой-то мальчишка, заявив, что из нее выйдет отличная люлька для его будущих ребят.

Вот девочка и брела теперь босиком, и ножки ее покраснели и посинели от холода. В кармане ее старенького передника лежало несколько пачек серных спичек, и одну пачку она держала в руке. За весь этот день она не продала ни одной спички, и ей не подали ни гроша. Она брела голодная и продрогшая и так измучилась, бедняжка!

Снежинки садились на ее длинные белокурые локоны, красиво рассыпавшиеся по плечам, но она, право же, и не подозревала о том, что они красивы. Изюм всех окон лился свет, на улице вкусно пахло жареным гусем - ведь был канун Нового года. Вот о чем она думала!

Наконец девочка нашла уголок за выступом дома. Тут она села и съежилась, поджав под себя ножки. Но ей стало еще холоднее, а вернуться домой она не смела: ей ведь не удалось продать ни одной спички, она не выручила ни гроша, а она знала, что за это отец прибудет ее; к тому же, думала она, дома тоже холодно; они живут на чердаке, где гуляет ветер, хотя самые большие щели в стенах и заткнуты соломой и тряпками.

Ручонки ее совсем заоченели. Ах, как бы их согрел огонек маленькой спички! Если бы только она посмела вытащить спичку, чиркнуть ею о стену и погреть пальцы! Девочка робко вытянула одну спичку и... чирк! Как спичка вспыхнула, как ярко она загорелась! Девочка прикрыла ее рукой, и спичка стала гореть ровным светлым пламенем, точно крохотная свечечка.

Удивительная свечка! Девочке почудилось, будто она сидит перед большой железной печью с блестящими медными шариками и заслонками. Как славно пылает в ней огонь, каким теплом от него веет! Но что это? Девочка протянула ноги к огню, чтобы погреть их, - и вдруг... пламя погасло, печка исчезла, а в руке у девочки осталась обгорелая спичка.

Она чиркнула еще одной спичкой, спичка загорелась, засветилась, и когда ее отблеск упал на стену, стена стала прозрачной, как кисея. Девочка увидела перед собой комнату, а в пей стол, покрытый белоснежной скатертью и уставленный дорогим фарфором; на столе, распространяя чудесный аромат, стояло блюдо с жареным гусем, начиненным черносливом и яблоками! И всего чудеснее было то, что гусь вдруг прыгнул со стола и, как был, с вилкой и ножом в спине, вперевалку заковылял по полу. Он шел прямо к бедной девочке, но... спичка погасла, и перед бедняжкой снова встала непроницаемая, холодная, сырая стена.

Девочка зажгла еще одну спичку. Теперь она сидела перед роскошной рождественской елкой. Эта елка была гораздо выше и наряднее той, которую

девочка увидела в сочельник, подойдя к дому одного богатого купца и заглянув в окно. Тысячи свечей горели на ее зеленых ветках, а разноцветные картинки, какими украшают витрины магазинов, смотрели на девочку. Малютка протянула к ним руки, но... спичка погасла. Огоньки стали уходить все выше и выше и вскоре превратились в ясные звездочки. Одна из них покатила по небу, оставив за собой длинный огненный след.

"Кто-то умер", - подумала девочка, потому что ее недавно умершая старая бабушка, которая одна во всем мире любила ее, не раз говорила ей: "Когда падет звездочка, чья-то душа отлетает к Богу".

Девочка снова чиркнула о стену спичкой и, когда все вокруг осветилось, увидела в этом сиянии свою старенькую бабушку, такую тихую и просветленную, такую добрую и ласковую.

- Бабушка, - воскликнула девочка, - возьми, возьми меня к себе! Я знаю, что ты уйдешь, когда погаснет спичка, исчезнешь, как теплая печка, как вкусный жареный гусь и чудесная большая елка!

И она торопливо чиркнула всеми спичками, оставшимися в пачке, - вот как ей хотелось удержать бабушку! И спички вспыхнули так ослепительно, что стало светлее, чем днем. Бабушка при жизни никогда не была такой красивой, такой величавой. Она взяла девочку на руки, и, озаренные светом и радостью, обе они вознеслись высоко-высоко - туда, где нет ни голода, ни холода, ни страха, - они вознеслись к Богу.

Морозным утром за выступом дома нашли девочку: на щечках ее играл румянец, на губах - улыбка, но она была мертва; она замерзла в последний вечер старого года. Новогоднее солнце осветило мертвое тельце девочки со спичками; она сожгла почти целую пачку.

- Девочка хотела погреться, - говорили люди. И никто не знал, какие чудеса она видела, среди какой красоты они вместе с бабушкой встретили Новогоднее Счастье.

Девочка, которая наступила на хлеб (Пер. П. Ганзен, А. Ганзен)

Вы, конечно, слышали о девочке, которая наступила на хлеб, чтобы не запачкать башмачков, слышали и о том, как плохо ей потом пришлось. Об этом и написано, и напечатано.

Она была бедная, но гордая и спесивая девочка. В ней, как говорится, были дурные задатки. Крошкой она любила ловить мух и обрывать у них крылышки; ей нравилось, что мухи из летающих насекомых превращались в ползающих.

Ловила она также майских и навозных жуков, насаживала их на булавки и подставляла им под ножки зеленый листик или клочок бумаги. Бедное насекомое ухватывалось ножками за бумагу, вертелось и изгибалось, стараясь освободиться от булавки, а Инге смеялась:

— Майский жук читает! Ишь, как переворачивает листок! С летами она становилась скорее хуже, чем лучше; к несчастью своему, она была прехорошенькая, и ей хоть и доставались щелчки, да все не такие, какие следовало.

— Крепкий нужен щелчок для этой головы! — говаривала ее родная мать. — Ребенком ты часто топтала мой передник, боюсь, что выросши ты растопчешь мне сердце!

Так оно и вышло.

Инге поступила в услужение к знатым господам, в помещичий дом. Господа обращались с нею, как со своей родной дочерью, и в новых нарядах Инге, казалось, еще похорошела, зато и спесь ее все росла да росла.

Целый год прожила она у хозяев, и вот они сказали ей:

— Ты бы навестила своих стариков, Инге!

Инге отправилась, но только для того, чтобы показаться родным в полном своем параде. Она уже дошла до околицы родной деревни, да вдруг увидала, что около пруда стоят и болтают девушки и парни, а неподалеку на камне отдыхает ее мать с охапкой хвороста, собранного в лесу. Инге — марш назад: ей стало стыдно, что у нее, такой нарядной барышни, такая оборванная мать, которая вдобавок сама таскает из лесу хворост. Инге даже не пожалела, что не повидалась с родителями, ей только досадно было.

Прошло еще полгода.

— Надо тебе навестить своих стариков, Инге! — опять сказала ей госпожа. — Вот тебе белый хлеб, снеси его им. То-то они обрадуются тебе!

Инге нарядилась в самое лучшее платье, надела новые башмаки, приподняла платьице и осторожно пошла по дороге, стараясь не запачкать башмачков, — ну, за это и упрекать ее нечего. Но вот тропинка свернула на болотистую почву; приходилось пройти по грязной луже. Не долго думая, Инге бросила в лужу свой хлеб, чтобы наступить на него и перейти лужу, не замочив ног. Но едва она ступила на хлеб одной ногой, а другую приподняла, собираясь шагнуть на сухое место, хлеб начал погружаться с нею все глубже и глубже в землю — только черные пузыри пошли по луже!

Вот такая история!

Куда же попала Инге? К болотнице в пивоварню. Болотница приходится теткой лешим и лесным девам; эти-то всем известны: про них и в книгах написано, и песни сложены, и на картинах их изображали не раз, о болотнице же известно очень мало; только когда летом над лугами подымается туман, люди говорят, что «болотница пиво варит!» Так вот, к ней-то в пивоварню и провалилась Инге, а тут долго не выдержишь! Клоака — светлый, роскошный покой в сравнении с пивоварней болотницы! От каждого чана разит так, что человека тошнит, а таких чанов тут видимо-невидимо, и стоят они плотно-плотно один возле другого; если же между некоторыми и отыщется где щелочка, то тут сейчас наткнешься на съезжившихся в комок мокрых жаб и жирных лягушек. Да, вот куда попала Инге! Очутившись среди этого холодного, липкого, отвратительного живого месива, Инге задрожала и почувствовала, что ее тело начинает коченеть. Хлеб крепко прильнул к ее ногам и тянул ее за собою, как янтарный шарик соломинку.

Болотница была дома; пивоварню посетили в этот день гости: черт и его прабабушка, ядовитая старушка. Она никогда не бывает праздною, даже в гости берет с собою какое-нибудь рукоделье: или шьет из кожи башмаки, надев которые человек делается непоседой, или вышивает сплетни, или, наконец, вяжет необдуманные слова, срывающиеся у людей с языка, — все во вред и на пагубу людям! Да, чертова прабабушка — мастерица шить, вышивать и вязать!

Она увидала Инге, поправила очки, посмотрела на нее еще и сказала: «Да она с задатками! Я попрошу вас уступить ее мне в память сегодняшнего посещения! Из нее выйдет отличный истукан для передней моего правнука!»

Болотница уступила ей Инге, и девочка попала в ад — люди с задатками могут попасть туда и не прямым путем, а окольным! Передняя занимала бесконечное пространство; поглядеть вперед — голова закружится, оглянуться назад — тоже. Вся передняя была запружена изнемогающими грешниками, ожидавшими, что вот-вот двери милосердия отворятся. Долгонько приходилось им ждать! Большущие,

жирные, переваливающиеся с боку на бок пауки оплели их ноги тысячетелней паутиной; она сжимала их, точно клещами, сковывала крепче медных цепей. Кроме того, души грешников терзались вечной мучительной тревогой. Скупой, например, терзался тем, что оставил ключ в замке своего денежного ящика, другие... да и конца не будет, если примемся перечислять терзания и муки всех грешников!

Инге пришлось испытать весь ужас положения истукана; ноги ее были словно привинчены к хлебу.

«Вот и будь опрятной! Мне не хотелось запачкать башмаков, и вот каково мне теперь! — говорила она самой себе. — Ишь, таращатся на меня!» Действительно, все грешники глядели на нее; дурные страсти так и светились в их глазах, говоривших без слов; ужас брал при одном взгляде на них! «Ну, на меня-то приятно и посмотреть! — думала Инге. — Я и сама хорошенькая и одета нарядно!» И она повела на себя глазами — шея у нее не ворочалась. Ах, как она выпачкалась в пивоварне болотницы! Об этом она и не подумала! Платье ее все сплошь было покрыто слизью, уж вцепился ей в волосы и хлопал ее по шее, а из каждой складки платья выглядывали жабы, лаявшие, точно жирные охрипшие моськи. Страсть, как было неприятно! «Ну, да и другие-то здесь выглядят не лучше моего!» — утешала себя Инге.

Хуже же всего было чувство страшного голода. Неужели ей нельзя нагнуться и отломить кусочек хлеба, на котором она стоит? Нет, спина не сгибалась, руки и ноги не двигались, она вся будто окаменела и могла только водить глазами во все стороны, кругом, даже выворачивать их из орбит и глядеть назад. Фу, как это выходило гадко! И вдобавок ко всему этому явились мухи и начали ползать по ее глазам взад и вперед; она моргала глазами, но мухи не улетали — крылья у них были общипаны, и они могли только ползать. Вот была мука! А тут еще этот голод! Под конец Инге стало казаться, что внутренности ее пожрали самих себя, и внутри у нее стало пусто, ужасно пусто!

— Ну, если это будет продолжаться долго, я не выдержу! — сказала Инге, но выдержать ей пришлось: перемены не наступало.

Вдруг на голову ей капнула горячая слеза, скатилась по лицу на грудь и потом на хлеб; за нею другая, третья, целый град слез. Кто же мог плакать об Инге?

А разве у нее не оставалось на земле матери? Горькие слезы матери, проливаемые ею из-за своего ребенка, всегда доходят до него, но не освобождают его, а только жгут, увеличивая его муки. Ужасный, нестерпимый голод был, однако, хуже всего! Топтать хлеб ногами и не быть в состоянии отломить от него хоть кусочек! Ей казалось, что все внутри ее пожрало само себя, и она стала тонкой, пустой тростинкой, втягивавшей в себя каждый звук. Она явственно слышала все, что говорили о ней там, наверху, а говорили-то одно дурное. Даже мать ее, хоть и горько, искренно оплакивала ее, все-таки повторяла: «Спесь до добра не доводит! Спесь и сгубила тебя, Инге! Как ты огорчила меня!»

И мать Инге и все там, наверху, уже знали о ее грехе, знали, что она наступила на хлеб и провалилась сквозь землю. Один пастух видел все это с холма и рассказал другим.

— Как ты огорчила свою мать, Инге! — повторяла мать. — Да я другого и не ждала!

«Лучше бы мне и не родиться на свет! — думала Инге. — Какой толк из того, что мать теперь хнычет обо мне!»

Слышала она и слова своих господ, почтенных людей, обращавшихся с нею, как с дочерью: «Она большая грешница! Она не чтит даров Господних, попирала их ногами! Не скоро откроются для нее двери милосердия!»

«Воспитывали бы меня получше, поостроже! — думала Инге. — Выгоняли бы из меня пороки, если они во мне сидели!»

Слышала она и песню, которую сложили о ней люди, песню о спесивой девочке, наступившей на хлеб, чтобы не запачкать башмаков. Все распевали ее.

«Как подумаю, чего мне ни пришлось выслушать и выстрадать за мою провинность! — думала Инге. — Пусть бы и другие поплатились за свои! А скольким бы пришлось! У, как я терзаюсь!»

И душа Инге становилась еще грубее, жестче ее оболочки.

— В таком обществе, как здесь, лучше не станешь! Да я и не хочу! Ишь, таращатся на меня! — говорила она и вконец ожесточилась и озлобилась на всех людей. — Обрадовались, нашли теперь, о чем галдеть! У, как я терзаюсь!

Слышала она также, как историю ее рассказывали детям, и малытки называли ее безбожницей.

— Она такая гадкая! Пусть теперь помучается хорошенько! — говорили дети. Только одно дурное слышала о себе Инге из детских уст. Но вот раз, терзаясь от голода и злобы, слышит она опять свое имя и свою историю. Ее рассказывали одной невинной, маленькой девочке, и малытка вдруг залилась слезами о спесивой, суетной Инге.

— И неужели она никогда не вернется сюда, наверх? — спросила малытка.

— Никогда! — ответили ей.

— А если она попросит прощения, обещает никогда больше так не делать?

— Да она вовсе не хочет просить прощения!

— Ах, как бы мне хотелось, чтобы она попросила прощения! — сказала девочка и долго не могла утешиться. — Я бы отдала свой кукольный домик, только бы ей позволили вернуться на землю! Бедная, бедная Инге!

Слова эти дошли до сердца Инге, и ей стало как будто полегче: в первый раз нашлась живая душа, которая сказала: «бедная Инге!» — и не прибавила ни слова о ее грехе. Маленькая, невинная девочка плакала и просила за нее!..

Какое-то странное чувство охватило душу Инге; она бы, кажется, заплакала сама, да не могла, и это было новым мучением.

На земле годы летели стрелою, под землю же все оставалось по-прежнему. Инге слышала свое имя все реже и реже — на земле вспоминали о ней все меньше и меньше. Но однажды долетел до нее вздох: «Инге! Инге! Как ты огорчила меня! Я всегда это предвидела!» Это умирала мать Инге.

Слышала она иногда свое имя и из уст старых хозяев.

Хозяйка, впрочем, выражалась всегда смиренно: «Может быть, мы еще свидимся с тобою, Инге! Никто не знает, куда попадет!»

Но Инге-то знала, что ее почтенной госпоже не попасть туда, куда попала она.

Медленно, мучительно медленно ползло время.

И вот Инге опять услышала свое имя и увидела, как над нею блеснули две яркие звездочки: это закрылась на земле пара кротких очей. Прошло уже много лет с тех пор, как маленькая девочка неутешно плакала о «бедной Инге»: малытка успела вырасти, состариться и была отозвана Господом Богом к Себе. В последнюю минуту, когда в душе вспыхивают ярким светом воспоминания целой жизни, вспомнились умирающей и ее горькие слезы об Инге, да так живо, что она невольно воскликнула: «Господи, может быть, и я, как Инге, сама того не ведая, попирала ногами Твои всеблагие дары, может быть, и моя душа была заражена спесью, и только Твое милосердие не дало мне пасть ниже, но поддержало меня! Не оставь же меня в последний мой час!»

И телесные очи умирающей закрылись, а духовные отверзлись, и так как Инге была ее последней мыслью, то она и узрела своим духовным взором то, что было

скрыто от земного – увидела, как низко пала Инге. При этом зрелище благочестивая душа залилась слезами и явилась к престолу Царя Небесного, плача и молясь о грешной душе так же искренно, как плакала ребенком. Эти рыдания и мольбы отдались эхом в пустой оболочке, заключавшей в себе терзающуюся душу, и душа Инге была как бы подавлена этой нежданной любовью к ней на небе. Божий ангел плакал о ней! Чем она заслужила это? Измученная душа оглянулась на всю свою жизнь, на все содеянное ей и залилась слезами, каких никогда не знавала Инге. Жалость к самой себе наполнила ее: ей казалось, что двери милосердия останутся для нее запертыми на веки вечные!

И вот, едва она с сокрушением сознала это, в подземную пропасть проник луч света, сильнее солнечного, который растопляет снежного истукана, слепленного на дворе мальчуганами, и быстрее, чем тает на теплых губках ребенка снежинка, растаяла окаменелая оболочка Инге. Маленькая птичка молнией взвилась из глубины на волю. Но, очутившись среди белого света, она съежилась от страха и стыда – она всех боялась, стыдилась и поспешно спряталась в темную трещину в какой-то полуразрушившейся стене. Тут она и сидела, съежившись, дрожа всем телом, не издавая ни звука, – у нее и не было голоса. Долго сидела она так, прежде чем осмелилась оглядеться и полюбоваться великолепием Божьего мира. Да, великолепен был Божий мир!

Воздух был свеж и мягок, ярко сиял месяц, деревья и кусты благоухали; в уголке, где укрылась птичка, было так уютно, а платьице на ней было такое чистенькое, нарядное. Какая любовь, какая красота были разлиты в Божьем мире! И все мысли, что шевелились в груди птички, готовы были вылиться в песне, но птичка не могла петь, как ей ни хотелось этого; не могла она ни прокуковать, как кукушка, ни защелкать, как соловей! Но Господь слышит даже немую хвалу червяка и услышал и эту безгласную хвалу, что мысленно неслась к небу, как псалом, звучавший в груди Давида, прежде чем он нашел для него слова и мелодию.

Немая хвала птички росла день ото дня и только ждала случая вылиться в добром деле.

Настал сочельник. Крестьянин поставил у забора шест и привязал к верхушке его необмолоченный сноп овса – пусть и птички весело справят праздник Рождества Спасителя!

В рождественское утро встало солнышко и осветило сноп; живо налетели на угощение щебетуны-птички. Из расщелины в стене тоже раздалось: «пи! пи!» Мысль вылилась в звуке, слабый писк был настоящим гимном радости: мысль готовилась воплотиться в добром деле, и птичка вылетела из своего убежища.

На небе знали, что это была за птичка. Зима стояла суровая, воды были скованы толстым льдом, для птиц и зверей лесных наступили трудные времена. Маленькая пташка летала над дорогой, отыскивая и находя в снежных бороздах, проведенных санями, зернышки, а возле стоянок для кормежки лошадей – крошки хлеба; но сама она съедала всегда только одно зернышко, одну крошку, а затем сзывала кормиться других голодных воробышков. Летала она и в города, осматривалась кругом и, завидев накрошенные из окна милосердной рукой кусочки хлеба, тоже съедала лишь один, а все остальное отдавала другим.

В течение зимы птичка собрала и раздала такое количество хлебных крошек, что все они вместе весили столько же, сколько хлеб, на который наступила Инге, чтобы не запачкать башмаков. И когда была найдена и отдана последняя крошка, серые крылья птички превратились в белые и широко распустились.

– Вон летит морская ласточка! – сказали дети, увидав белую птичку.

Птичка то ныряла в волны, то взвивалась навстречу солнечным лучам – и вдруг исчезла в этом сиянии. Никто не видел, куда она делась.

– Она улетела на солнышко! – сказали дети.

Домовой у лавочника (пер. И. Разумовской и С. Самостреловой)

Жил-был студент, самый обыкновенный студент. Он уютился на чердаке и не имел ни гроша в кармане. И жил-был лавочник, самый обыкновенный лавочник, он занимал первый этаж, и весь дом принадлежал ему. А в доме прижился домовый. Оно и понятно: ведь каждый сочельник ему давали глубокую миску каши, в которой плавал большой кусок масла. Только у лавочника и получишь такое угощение! Вот домовый и оставался в лавке, а это весьма поучительно.

Однажды вечером студент зашел с черного хода купить себе свечей и сыра. Послать за покупками ему было некого, он и спустился в лавку сам. Он получил то, что хотел, расплатился, лавочник кивнул ему на прощание, и хозяйка кивнула, а она редко когда кивала, больше любила поговорить!

Студент тоже попрощался, но замешкался и не уходил: он начал читать лист бумаги, в который ему завернули сыр. Этот лист был вырван из старинной книги с прекрасными стихами, а портить такую книгу просто грех.

- Да у меня этих листов целая куча, - сказал лавочник. - Эту книжонку я получил от одной старухи за пригоршню кофейных зерен. Заплатите мне восемь скиллингов и заберите все остальные.

- Спасибо, - ответил студент, - дайте мне эту книгу вместо сыра! Я обойдусь и хлебом с маслом. Нельзя допустить, чтобы такую книгу разорвали по листочкам. Вы прекрасный человек и практичный к тому же, но в поэзии разбираетесь не лучше своей бочки!

Сказано это было невежливо, в особенности по отношению к бочке, но лавочник посмеялся, посмеялся и студент - надо же понимать шутки! Только домовый рассердился. Да как смеет студент так отзываться о лавочнике, который торгует превосходным маслом и к тому же хозяин дома!

Наступила ночь, лавочник и все в доме, кроме студента, улеглись спать. Домовой пробрался к хозяйке и вынул у нее изо рта ее бойкий язычок - ночью во сне он ей все равно ни к чему! А если приставить его к какому-нибудь предмету, тот сразу обретет дар речи и начнет выкладывать свои мысли и чувства, затараторит не хуже лавочницы. Только пользоваться язычком приходится всем по очереди, да оно и лучше, иначе вещи болтали бы без умолку, перебивая друг друга.

Домовой приложил язычок к бочке, где хранились старые газеты, и спросил:

- Неужели это правда, что вы ничего не смыслит в поэзии?

- Да нет, в поэзии я разбираюсь. - ответила бочка. - Поэзия - это то, что помещают в газете внизу, а потом вырезают. Я думаю, во мне-то поэзии побольше, чем в студенте! А что я? Всего лишь жалкая бочка рядом с господином лавочником.

Тогда домовый приставил язычок к кофейной мельнице. Вот поднялась трескотня! А потом к банке с маслом и к ящику с деньгами, и все были того же мнения, что и бочка, а с мнением большинства нельзя не считаться.

- Ну, студент, берегись! - И домовый тихонько, на цыпочках, поднялся по кухонной лестнице на чердак. В каморке у студента горел свет. Домовой заглянул в замочную скважину и увидел, что студент сидит и читает рваную книгу из лавки. Но как светло было на чердаке! Из книги поднимался ослепительный луч и превращался в ствол могучего, высокого дерева. Оно широко раскинуло над студентом свои ветви. Каждый лист дышал свежестью, каждый цветок был прелестным девичьим лицом:

блестели горячие темные глаза, улыбались голубые и ясные. Вместо плодов на ветвях висели сияющие звезды, и воздух звенел и дрожал от удивительных напевов.

Что и говорить, такой красоты крошка домовый никогда не видывал, да и вообразить себе не мог. Он привстал на цыпочки и замер, прижавшись к замочной скважине, глядел и не мог наглядеться, пока свет не погас.

Студент задул лампу и лег спать. Но маленький домовый не отходил от двери, он все еще слышал тихую, нежную мелодию, будто студенту напевали ласковую колыбельную.

- Вот так чудеса! - сказал малютка домовый. - Такого я не ожидал! Не остаться ли мне у студента? - Он задумался, однако поразмыслил хорошенько и вздохнул. - Но ведь у студента нет каши! - И домовый стал спускаться по лестнице. Да, да, пошел обратно к лавочнику!

Он вернулся вниз как раз вовремя, потому что бочка уже почти совсем истрепала хозяйкин язычок, тараторя обо всем, что переполняло ее половину.

Она собиралась было повернуться другим боком, чтобы выложить содержимое второй половины, как тут явился домовый, взял язычок и отнес его назад в спальню, но отныне вся лавка, от кассы до щепок для растопки, прониклась таким уважением к бочке, так восхищалась ее познаниями, что когда лавочник по вечерам читал вслух статьи из своей газеты, посвященные театру и искусству, все в лавке воображали, будто эти сведения исходят от бочки.

А маленький домовый, тот не в силах был больше спокойно слушать благонамеренные разглагольствования обитателей лавки. Каждый вечер, как только на чердаке зажигался свет, его словно канатом тянуло вверх, он не мог усидеть на месте, поднимался по лестнице и прикивал к замочной скважине. Тут его охватывал такой трепет, какой испытываем мы, стоя в бурю у ревущего моря, когда над волнами будто проносится сам Господь Бог. И домовый не мог сдержать слез. Он и сам не знал, отчего плачет, но слезы эти были такие светлые и сладкие! Он отдал бы все на свете, чтобы посидеть рядом со студентом под величественным деревом, но об этом и мечтать не приходилось, счастье еще, что можно глядеть в замочную скважину. Наступила осень, а он часами простаивал на чердаке, хотя в слуховое окно дул пронзительный ветер. Было холодно, очень холодно, но крошка домовый не замечал сквозняка, пока в камерке под крышей не гас свет и ветер не заглушал чудесное пение. Ух! Тут он сразу начинал дрожать и тихонько пробирался вниз, в свой уютный уголок. Как там было темно и тепло! А скоро и сочельник наступит, и он получит свою кашу с большим куском масла! Да, что ни говори, лавочник - вот кто его хозяин!

Однажды ночью домовый проснулся от яростного стука в ставни, в них барабанили снаружи, ночной сторож свистел: пожар! пожар! Над улицей стояло зарево. Где же горит? У лавочника или у соседей? Где? Вот страх-то!

Лавочница так растерялась, что вынула из ушей золотые серьги и спрятала их в карман - там целее будут. Лавочник бросился к ценным бумагам, а служанка - к шелковой шали, у нее и такая была. Каждый хотел спасти то, что ему всего дороже, и маленький домовый в два прыжка взлетел на чердак в камерку к студенту. А тот преспокойно стоял у открытого окна и глядел на пожар - горело, оказывается, во дворе у соседей. Домовый кинулся к столу, схватил чудесную книгу, спрятал ее в свой красный колпачок и обхватил его обеими руками. Самое главное сокровище дома было в безопасности! Потом он вылез на крышу, забрался на печную трубу и уселся там. Огни пожара ярко освещали его, а он крепко прижимал к груди свой красный колпачок - ведь в нем было спрятано сокровище. Теперь-то он понял, кому принадлежит его сердце! Но вот пожар понемногу затих, и он одумался.

"Да, - сказал он себе, - придется разрываться между ними обоими, не могу же я покинуть лавочника, как же тогда каша?"

Он рассуждал совсем как мы, люди: ведь и мы тоже не можем пройти мимо лавочника - из-за каши.

История одной матери (Пер. П. Ганзен, А. Ганзен)

Мать пела у колыбели своего ребенка; как она горевала, как боялась, что он умрет! Личико его совсем побледнело, глазки были закрыты, дышал он так слабо, а по временам тяжело-тяжело переводил дух, точно вздыхал...

И сердце матери сжималось еще сильнее при взгляде на маленького страдальца.

Вдруг в дверь постучали, и вошел бедный старик, закутанный во что-то вроде лошадиной попоны, - попона ведь греет, а ему того и надо было: стояла холодная зима, на дворе все было покрыто снегом и льдом, а ветер так и резал лицо.

Видя, что старик дрожит от холода, а дитя задремало на минуту, мать отошла от колыбели, чтобы налить для гостя в кружку пива и поставить его погреться в печку. Старик же в это время подсел к колыбели и стал покачивать ребенка. Мать опустилась на стул рядом, взглянула на больного ребенка, прислушалась к его тяжелому дыханию и взяла его за ручку.

- Ведь я не лишусь его, не правда ли? - сказала она. - Господь не отнимет его у меня!

Старик - это была сама Смерть - как-то странно кивнул головою; кивок этот мог означать и "да" и "нет". Мать опустила голову, и слезы потекли по ее щекам... Скоро голова ее отяжелела, - бедная не смыкала глаз вот уже три дня и три ночи... Она забылась сном, но всего лишь на минуту; тут она опять встрепенулась и задрожала от холода.

- Что это!? - воскликнула она, озираясь вокруг: старик исчез, а с ним и дитя; старик унес его.

В углу глухо шипели старые часы; тяжелая, свинцовая гирия дошла до полу...

Бум! И часы остановились.

Бедная мать выбежала из дома и стала громко звать своего ребенка.

На снегу сидела женщина в длинном черном одеянии, она сказала матери:

- Смерть посетила твой дом, и я видела, как она скрылась с твоим малюткой. Она носится быстрее ветра и никогда не возвращает, что раз взяла!

- Скажи мне только, какую дорогой она пошла! - сказала мать. - Только укажи мне путь, и я найду ее!

- Я знаю, куда она пошла, но не скажу, пока ты не споешь мне всех песенок, которые певала своему малютке! - сказала женщина в черном. - Я очень люблю их. Я уже слышала их не раз, - я ведь Ночь и видела, как ты плакала, напевая их!..

- Я спою тебе их все, все! - отвечала мать. - Но не задерживай меня теперь, мне надо догнать Смерть, найти моего ребенка!

Ночь молчала, и мать, ломая руки и заливаясь слезами, запела. Много было спето песен - еще больше пролито слез. И вот Ночь промолвила:

- Ступай направо, прямо в темный сосновый бор; туда направилась Смерть с твоим ребенком!

Дойдя до перекрестка в глубине бора, мать остановилась. Куда идти теперь?

У самого перекрестка стоял голый терновый куст, без листьев, без цветов; была ведь холодная зима, и он почти весь обледенел.

- Не проходила ли тут Смерть с моим ребенком?

- Проходила! - сказал терновый куст. - Но я не скажу, куда она пошла, пока ты не отогреешь меня на своей груди, у своего сердца. Я мерзну и скоро весь обледенею.

И она крепко прижала его к своей груди. Острые шипы глубоко вонзились ей в тело, и на груди ее выступили крупные капли крови... Зато терновый куст зазеленел и весь покрылся цветами, несмотря на холод зимней ночи, - так тепло у сердца скорбящей матери! И терновый куст указал ей дорогу.

Она привела мать к большому озеру; нигде не было видно ни корабля, ни лодки. Озеро было слегка затянуто льдом; лед этот не выдержал бы ее и в то же время он не позволял ей пуститься через озеро вброд; да и глубоко было!

А ей все-таки надо было переправиться через него, если она хотела найти своего ребенка. И вот мать приникла к озеру, чтобы выпить его все до дна; это невозможно для человека, но несчастная мать верила в чудо.

- Нет, из этого толку не будет! - сказала озеро. - Давай-ка лучше сговоримся! Я собираю жемчужины, а таких ясных и чистых, как твои глаза, я еще и не видывало. Если ты согласна выплакать их в меня, я перенесу тебя на тот берег, к большой теплице, где Смерть растит свои цветы и деревья: каждое растение - человеческая жизнь!

- О, чего я не отдам, чтобы только найти моего ребенка! - сказала плачущая мать, залилась слезами еще сильнее, и вот глаза ее упали на дно озера и превратились в две драгоценные жемчужины. Озеро же подхватило мать, и она одним взмахом, как на качелях, перенеслась на другой берег, где стоял огромный диковинный дом. И не разобрать было - гора ли это, обросшая кустарником и вся изрытая пещерами, или здание; бедная мать, впрочем, и вовсе не видела его, - она ведь выплакала свои глаза.

- Где же мне найти Смерть, похитившую моего ребенка? - проговорила она.

- Она еще не возвращалась! - отвечала старая садовница, присматривавшая за теплицей Смерти. - Но как ты нашла сюда дорогу, кто помог тебе?

- Господь Бог! - отвечала мать. - Он сжалился надо мною, сжался же и ты! Скажи, где мне искать моего ребенка?

- Да я ведь не знаю его! - сказала женщина. - А ты слепая! Сегодня в ночь завяло много цветов и деревьев, и Смерть скоро придет пересаживать их. Ты ведь знаешь, что у каждого человека есть свое дерево жизни или свой цветок, смотря по тому, каков он сам. С виду они совсем обыкновенные растения, но в каждом бьется сердце. Детское сердечко тоже бьется; обойди же все растения - может быть, ты и узнаешь сердце своего ребенка. А теперь, что ж ты мне дашь, если я скажу тебе, как поступать дальше?

- Мне нечего дать тебе! - отвечала несчастная мать. - Но я готова пойти для тебя на край света!

- Ну, там мне нечего искать! - сказала женщина. - А ты вот отдай-ка мне свои длинные черные волосы. Ты сама знаешь, как они хороши, а я люблю хорошие волосы. Я дам тебе в обмен свои седые; это все же лучше, чем ничего!

- Только-то? - сказала мать. - Да я с радостью отдам тебе свои волосы!

И она отдала старухе свои прекрасные, черные волосы, получив в обмен седые.

Потом она вошла в огромную теплицу Смерти, где росли вперемежку цветы и деревья; здесь цвели под стеклянными колпаками нежные гиацинты, там росли большие, пышные пионы, тут - водяные растения, одни свежие и здоровые, другие - полузачахшие, обвитые водяными змеями, стиснутые клешнями черных раков. Были здесь и великолепные пальмы, и дубы, и платаны; росли и петрушка и душистый тмин. У каждого дерева, у каждого цветка было свое имя; каждый цветок, каждое деревцо было человеческою жизнью, а сами-то люди были разбросаны по всему свету: кто жил в Китае, кто в Гренландии, кто где. Попадались тут и большие

деревья, росшие в маленьких горшках; им было страшно тесно, и горшки чуть-чуть не лопались; зато было много и маленьких, жалких цветочков, росших в черноземе и обложенных мхом, за ними, как видно, заботливо ухаживали, лелеяли их. Несчастливая мать наклонялась ко всякому, даже самому маленькому, цветочку, прислушиваясь к биению его сердечка, и среди миллионов узнала сердце своего ребенка!

- Вот он! - сказала она, протягивая руку к маленькому голубому крокусу, который печально свесил головку.

- Не трогай цветка! - сказала старуха. - Но стань возле него и, когда Смерть придет - я жду ее с минуты на минуту, - не давай ей высадить его, пригрозил вырвать какие-нибудь другие цветы. Этим она испугается - она ведь отвечает за них перед Богом; ни один цветок не должен быть вырван без его воли.

Вдруг пахнуло ледящим холодом, и слепая мать догадалась, что явилась Смерть.

- Как ты нашла сюда дорогу? - спросила Смерть. - Как ты могла опередить меня?

- Я мать! - отвечала та.

И Смерть протянула было свою длинную руку к маленькому нежному цветочку, но мать быстро прикрыла его руками, стараясь не помять при этом ни единого лепестка. Тогда Смерть дохнула на ее руки; дыхание Смерти было холоднее северного ветра, и руки матери бессильно опустились.

- Не тебе тягаться со мною! - промолвила Смерть.

- Но Бог сильнее тебя! - сказала мать.

- Я ведь только исполняю его волю! - отвечала Смерть. - Я его садовник, беру его цветы и деревья и пересаживаю их в великий райский сад, в неведомую страну, но как они там растут, что делается в том саду - об этом я не смею сказать тебе!

- Отдай мне моего ребенка! - взмолилась мать, заливаясь слезами, а потом вдруг захватила руками два великолепных цветка и закричала:

- Я повырву все твои цветы, я в отчаянии!

- Не трогай их! - сказала Смерть. - Ты говоришь, что ты несчастна, а сама хочешь сделать несчастною другую мать!..

- Другую мать! - повторила бедная женщина и сейчас же выпустила из рук цветы.

- Вот тебе твои глаза! - сказала Смерть. - Я выловила их из озера - они так ярко блестели там; но я и не знала, что это твои. Возьми их - они стали яснее прежнего - и взгляни вот сюда, в этот глубокий колодец! Я назову имена тех цветков, что ты хотела вырвать, и ты увидишь все их будущее, всю их земную жизнь. Посмотри же, что ты хотела уничтожить!

И мать взглянула в колодец: отрадно было видеть, каким благодеянием была для мира жизнь одного, сколько счастья и радости дарил он окружающим!

Взглянула она и на жизнь другого - и увидела горе, нужду, отчаяние и бедствия!

- Обе доли - Божья воля! - сказала Смерть.

- Который же из двух - цветок несчастья и который - счастья? - спросила мать.

- Этим я не скажу! - отвечала Смерть. - Но знай, что в судьбе одного из них ты увидела судьбу своего собственного ребенка, все его будущее!

У матери вырвался крик ужаса.

- Какая же судьба ожидала моего ребенка? Скажи мне! Спаси невинного! Спаси мое дитя от всех этих бедствий! Лучше возьми его! Унеси его в Царство Божье! Забудь мои слезы, мои мольбы, все, что я говорила и делала!

- Я не пойму тебя! - сказала Смерть. - Хочешь ты, чтобы я отдала тебе твое дитя или чтобы унесла его в неведомую страну?

Мать заломила руки, упала на колени и взмолилась Творцу:

- Не внемли мне, когда я прошу о чем-либо, несогласном с Твоею всеблагою волей! Не внемли мне! Не внемли мне!

И она поникла головою...

А Смерть понесла ее ребенка в неведомую страну.

Лён

(Пер. П. Ганзен, А. Ганзен)

Лён цвел чудесными голубенькими цветочками, мягкими и нежными, как крылья мотыльков, даже еще нежнее! Солнце ласкало его, дождь поливал, и льну это было так же полезно и приятно, как маленьким детям, когда мать сначала умоет их, а потом поцелует, дети от этого хорошеют, хорошел и лён.

- Все говорят, что я уродился на славу! - сказал лён. - Говорят, что я еще вытянусь, и потом из меня выйдет отличный кусок холста! Ах, какой я счастливый! Право, я счастливее всех! Это так приятно, что и я пригожусь на что-нибудь! Солнышко меня веселит и оживляет, дождичек питает и освежает! Ах, я так счастлив, так счастлив! Я счастливее всех!

- Да, да, да! - сказали колья изгороди. - Ты еще не знаешь света, а мы так вот знаем, - вишь, какие мы сучковатые!

И они жалобно заскрипели:

Оглянуться не успеешь,

Как уж песенке конец!

- Вовсе не конец! - сказал лён, - И завтра опять будет греть солнышко, опять пойдет дождик! Я чувствую, что расту и цвету! Я счастливее всех на свете!

Но вот раз явились люди, схватили лён за макушку и вырвали с корнем.

Больно было! Потом его положили в воду, словно собирались утопить, а после того держали над огнем, будто хотели изжарить. Ужас что такое!

- Не вечно же нам жить в свое удовольствие! - сказал лён. - Приходится и потерпеть. Зато поумнеешь!

Но льну приходилось уж очень плохо. Чего-чего только с ним не делали: и мяли, и тискали, и трепали, и чесали - да просто всего и не упомнишь! Наконец, он очутился на прялке. Жжж! Тут уж поневоле все мысли вразброд пошли!

"Я ведь так долго был несказанно счастлив! - думал он во время этих мучений. - Что ж, надо быть благодарным и за то хорошее, что выпало нам на долю! Да, надо, надо!.. Ох!"

И он повторял то же самое, даже попав на ткацкий станок. Но вот наконец из него вышел большой кусок великолепного холста. Весь лён до последнего стебелька пошел на этот кусок.

- Но ведь это же бесподобно! Вот уж не думал, не гадал-то! Как мне, однако, везет! А колья-то все твердили: "Оглянуться не успеешь, как уж песенке конец!" Много они смыслили, нечего сказать! Песенке вовсе не конец! Она только теперь и начинается. Вот счастье-то! Да, если мне и пришлось пострадать немножко, то зато теперь из меня и вышло кое-что. Нет, я счастливее всех на свете! Какой я теперь крепкий, мягкий, белый и длинный! Это небось получше, чем просто расти или даже цвести в поле! Там никто за мною не ухаживал, воду я только и видал, что в дождик, а теперь ко мне приставили прислугу, каждое утро меня переворачивают на другой бок, каждый вечер поливают из лейки! Сама пасторша держала надо мною речь и сказала, что во всем околотке не найдется лучшего куска! Ну, можно ли быть счастливее меня!

Холст взяли в дом, и он попал под ножницы. Ну, и досталось же ему! Его и резали, и кроили, и кололи иголками - да, да! Нельзя сказать, чтобы это было приятно! Зато из холста вышло двенадцать пар... таких принадлежностей туалета, которые не принято называть в обществе, но в которых все нуждаются. Целых двенадцать пар вышло!

- Так вот когда только из меня вышло кое-что! Вот каково было мое назначение! Да ведь это же просто благодать! Теперь и я приношу пользу миру, а в этом ведь вся и суть, в этом-то вся и радость жизни! Нас двенадцать пар, но все же мы одно целое, мы - дюжина! Вот так счастье!

Прошли года, и белье износилось.

- Всему на свете бывает конец! - сказала оно. - Я бы и радо было послужить еще, но невозможное невозможно!

И вот белье разорвали на тряпки. Они было уже думали, что им совсем пришел конец, так их принялись рубить, мять, варить, тискать... Ан, глядь - они превратились в тонкую белую бумагу!

- Нет, вот сюрприз так сюрприз! - сказала бумага. - Теперь я тоньше прежнего, и на мне можно писать. Чего только на мне не напишут! Какое счастье!

И на ней написали чудеснейшие рассказы. Слушая их, люди становились добрее и умнее, - так хорошо и умно они были написаны. Какое счастье, что люди смогли их прочитать!

- Ну, этого мне и во сне не снилось, когда я цвела в поле голубенькими цветочками! - говорила бумага. - И могла ли я в то время думать, что мне выпадет на долю счастье нести людям радость и знания! Я все еще не могу прийти в себя от счастья! Самой себе не верю! Но ведь это так! Господь Бог знает, что сама я тут ни при чем, я старалась только по мере слабых сил своих не даром занимать место! И вот он ведет меня от одной радости и почести к другой! Всякий раз, как я подумаю: "Ну, вот и песенке конец", - тут-то как раз и начинается для меня новая, еще высшая, лучшая жизнь!

Теперь я думаю отправиться в путь-дорогу, обойти весь свет, чтобы все люди могли прочесть написанное на мне! Так ведь и должно быть! Прежде у меня были голубенькие цветочки, теперь каждый цветочек расцвел прекраснейшею мыслью! Счастливее меня нет никого на свете!

Но бумага не отправилась в путешествие, а попала в типографию, и все, что на ней было написано, перепечатали в книгу, да не в одну, а в сотни, тысячи книг. Они могли принести пользу и доставить удовольствие бесконечно большому числу людей, нежели одна та бумага, на которой были написаны рассказы: бегая по белу свету, она бы истрепалась на полпути.

"Да, конечно, так дело-то будет вернее! - подумала исписанная бумага. - Этого мне и в голову не приходило! Я останусь дома отдыхать, и меня будут почитать, как старую бабушку! На мне ведь все написано, слова стекали с пера прямо на меня! Я останусь, а книги будут бегать по белу свету! Вот это дело! Нет, как я счастлива, как я счастлива!

Тут все отдельные листы бумаги собрали, связали вместе и положили на полку.

- Ну, можно теперь и опочить на лаврах! - сказала бумага. Не мешает тоже собраться с мыслями и сосредоточиться! Теперь только я поняла как следует, что во мне есть! А познать себя самое - большой шаг вперед. Но что же будет со мной потом? Одно я знаю - что непременно двинусь вперед! Все на свете постоянно идет вперед, к совершенству.

В один прекрасный день бумагу взяли да и сунули в плиту; ее решили сжечь, так как ее нельзя было продать в мелочную лавочку на обертку масла и сахара.

Дети обступили плиту; им хотелось посмотреть, как бумага вспыхнет и как потом по золе начнут перебегать и потухать одна за другою шаловливые, блестящие искорки! Точь-в-точь ребяташки бегут домой из школы! После всех выходит учитель - это последняя искра. Но иногда думают, что он уже вышел - ан нет! Он выходит еще много времени спустя после самого последнего школьника!

И вот огонь охватил бумагу. Как она вспыхнула!

- Уф! - сказала она и в ту же минуту превратилась в столб пламени, которое взвилось в воздух высоко-высоко, лен никогда не мог поднять так высоко своих голубеньких цветочных головок, и пламя сияло таким ослепительным блеском, каким никогда не сиял белый холст. Написанные на бумаге буквы в одно мгновение зарделись, и все слова и мысли обратились в пламя!

- Теперь я вззовюсь прямо к солнцу! - сказала пламя, словно тысячами голосов зараз, и взвилось в трубу. А в воздухе запорхали крошечные незримые существа, легче, воздушное пламени, из которого родились. Их было столько же, сколько когда-то было цветочков на льне. Когда пламя погасло, они еще раз проплясали по черной золе, оставляя на ней блестящие следы в виде золотых искорок. Ребяташки выбежали из школы, за ними вышел и учитель; любо было поглядеть на них! И дети запели над мертвою золой:

Оглянуться не успеешь,

Как уж песенке конец!

Но незримые крошечные существа говорили:

- Песенка никогда не кончается - вот что самое чудесное! Мы знаем это, и потому мы счастливее всех!

Но дети не расслышали ни одного слова, а если б и расслышали - не поняли бы. Да и не надо! Не все же знать детям!

Пропащая (Пер. А. Ганзен)

Городской судья стоял у открытого окна; на нем была крахмальная рубашка, в манишке красовалась дорогая булавка, выбрит он был безукоризненно - сам всегда брился. На этот раз он, впрочем, как-то порезался, и царапинка была заклеена клочком газетной бумаги.

- Эй ты, малый! - закричал он.

"Малый" был не кто иной, как прачкин сынишка; он проходил мимо, но тут остановился и почтительно снял фуражку с переломанным козырьком, - тем удобнее было совать ее в карман. Одет мальчуган был бедно, но чисто; на все дыры были аккуратно наложены заплатки; обут он был в тяжелые деревянные башмаки и стоял перед городским судьей навытяжку, словно перед самим королем.

- Ты славный мальчик! - сказал городской судья. - Почтительный мальчик! Мать, верно, полощет белье на речке, а ты тащишь ей кое-что? Вишь, торчит из кармана! Скверная привычка у твоей матери! Сколько у тебя там?

- Полкосушки, - ответил мальчик тихо, испуганно.

- Да утром ты отнес ей столько же? - продолжал городской судья.

- Нет, это вчера! - сказал мальчуган.

- Две полкосушки - вот уже и целая! Пропащая она женщина! Просто беда с этим народом! Скажи своей матери, что стыдно ей! Да гляди, сам не сделайся пьяницей! Впрочем, что и говорить; конечно, сделаешься! Бедный ребенок... Ну, ступай!

Мальчик пошел; фуражка так и осталась у него в руках, и ветер развеивал его длинные белокурые волосы. Вот он прошел улицу, свернул в переулок и дошел до реки. Мать его стояла в воде и колотила вальком разложенное на деревянной скамье

мокрое, тяжелое белье. Течение было сильное; мельничные шлюзы были открыты - простыню, которую женщина полоскала, так и рвало у нее из рук, скамья тоже грозила опрокинуться, и прачка просто из сил выбивалась.

- Я чуть-чуть не уплыла сама! - сказала она. - Хорошо, что ты пришел, надо мне подкрепиться маленько. Вода холодная-прехолодная, а я вот уже шесть часов стою тут! Принес ты что-нибудь?

Мальчик вытащил бутылочку; мать приложила ее ко рту и хлебнула.

- Как славно! Сразу согреешься, точно поешь чего-нибудь горяченького, а стоит-то куда дешевле! Хлебни и ты, мальчуган! Ишь ты, какой бледный! Холодно тебе в легоньком платишке! Осень ведь на дворе! У! Вода прехолодная! Только бы мне не захворать! Дай-ка мне еще глотнуть, да глотни и сам, только чуть-чуть! Тебе не надо привыкать к этому, бедняжка мой!

И она обошла мостки, на которых стоял мальчуган, и вышла на берег. Вода бежала с рогожки, которою она обвязалась вокруг пояса, текла с подола юбки.

- Я работаю изо всех сил, кровь чуть не брызжет у меня из-под ногтей!.. Да пусть, только бы удалось вывести в люди тебя, мой голубчик!

В это время к ним подошла бедно одетая старуха; она прихрамывала па одну ногу, и один глаз у нее был прикрыт большим локоном, отчего изъян был еще заметнее. Старуха была дружна с прачкой, а звали ее соседи "хромою Марен с локоном".

- Бедняжка, вот как приходится тебе работать! Стоишь по колено в холодной воде! Как тут не глотнуть разок-другой, чтобы согреться! А люди-то считают каждый твой глоток!

И она пересказала прачке слова городского судьи. Марен слышала, что он говорил мальчику, и очень рассердилась на него, - можно ли говорить так с ребенком о его же собственной матери да считать всякий ее глоток, когда сам задаешь званый обед, где вино будет литься рекою, и вино-то дорогое, крепкое! Небось сами пьют - не считают, и все-таки они не пьяницы, люди достойные, а ты вот "пропащая"!

- Так он и сказал тебе, сынок? - спросила прачка, и, губы ее задрожали. - Мать твоя - пропащая! Что ж, может быть, он и прав! Но не следовало бы говорить этого ребенку!.. Да, не впервой терпеть мне от этого семейства!

- Правда, вы ведь служили еще у родителей судьи! Давненько это было, много пудов соли съедено с тех пор, не мудрено, что и пить хочется! - И Марен рассмеялась. - Сегодня у городского судьи назначен званый обед; хотел было отменить, да уж поздно было, все было готово. Я от дворника все это узнала. С час тому назад пришло письмо, что младший брат судьи умер в Копенгагене.

- Умер! - проговорила прачка и побледнела как смерть.

- Что с вами? - спросила Марен. - Неужто вы так близко принимаете это к сердцу? Ах да, ведь вы знавали его!

- Так он умер!.. Лучше, добрее его не было человека на свете! Не много у Господа Бога таких, как он! - И слезы потекли по ее щекам. - О Господи, голова так и кружится! Это оттого, что я выпила всю бутылку! Не следовало бы! Мне так скверно! И она схватилась за забор.

- Ох, да вы совсем больны, матушка! - сказала Марен. - Ну, ну, придите же в себя!.. Нет, вам и взаправду плохо! Сведу-ка я вас лучше домой!

- А белье-то!

- Ну, я возьмусь за него!.. Держитесь за меня! Мальчуган пусть покараулит тут, пока я вернусь и дополощу. Сущя безделица осталась!

Ноги у прачки подкашивались.

- Я слишком долго стояла в холодной воде! И с самого утра у меня не было во рту ни крошки! Лихорадка так и бьет! Господи Иисусе! Хоть бы до дому-то добраться! Бедный мой мальчик!

И она заплакала.

Мальчик тоже заплакал и остался у реки стеречь белье. Женщины продвигались вперед шаг за шагом, прачка едва тащилась, прошли переулок, улицу, но перед домом судьи больная вдруг свалилась на мостовую. Вокруг нее собралась толпа. Хромая Марен побежала во двор за помощью. Судья со своими гостями смотрел из окна.

- Это прачка! - сказал он. - Хлебнула лишнее! Пропавшая женщина! Жаль только славного мальчугана, сынишку ее! А мать-то пропавшая!

Прачку привели в себя, отнесли домой в ее жалкую каморку и уложили в постель. Марен приготовила для больной питье - теплое пиво с маслом и с сахаром, лучшее средство, какое она только знала, а потом отправилась допаласкивать белье. Выполоскала она его очень плохо, зато от доброго сердца; собственно говоря, она только повытаскала мокрое белье на берег и уложила в корзину.

Вечером Марен опять сидела в жалкой каморке возле прачки. Кухарка городского судьи дала ей для больной славный кусок ветчины и немножко жареного картофеля; все это пошло самой Марен и мальчику, а больная наслаждалась одним запахом.

- Он такой питательный! - говорила она.

Мальчик улегся на ту же самую постель, на которой лежала и мать; он лег у нее в ногах, поперек кровати, и накрылся старым половиком, собранным из голубых и красных лоскутков.

Прачке стало немножко полегче; горячее пиво подкрепило ее, а запах теплого кушанья подбодрил.

- Спасибо тебе, добрая душа! - сказала она Марен. - Когда мальчик уснет, я расскажу тебе все! Да он уж и спит, кажется! Взгляни, какой он славный, хорошенький с закрытыми глазками! Он и не знает, каково приходится его бедной матери, да, бог даст, и никогда не узнает!.. Я служила у советника и советницы, родителей судьи, и вот, случись, что самый младший из сыновей приехал на побывку домой; студент он был. Я в ту пору была еще молоденькою, шустрою, но честною девушкой, - вот как перед Богом говорю! И студент-то был такой веселый, славный, а уж честнее, благороднее его не нашлось бы человека во всем свете! Он был хозяйский сын, а я простая служанка, но мы все-таки полюбили друг друга... честно и благородно!

Поцеловаться разок-другой ведь не грех, если любишь друг друга всем сердцем. Он во всем признался матери; он так уважал и почитал ее, чуть не молился на нее! И она была такая умная, ласковая, добрая. Он уехал, но перед отъездом надел мне на палец золотое кольцо. Как уехал он, меня и призывает сама госпожа и начинает говорить со мною так серьезно и вместе с тем так ласково, как ангел небесный. Она объяснила мне, какое между мною и им расстояние по уму и образованию. "Теперь он глядит лишь на твое личико, но красота ведь пройдет, а ты не так воспитана, не так образована, как он. Неровня вы - вот в чем вся беда! Я уважаю бедных, и в Царствии Небесном они, может быть, займут первые места, но тут-то, на земле, нельзя заезжать в чужую колею, если хочешь ехать вперед - и экипаж сломается, и вы оба вывалитесь! Я знаю, что за тебя сватался один честный, хороший работник, Эрик-перчаточник. Он бездетный вдовец, человек дельный и не бедный, - подумай же хорошенько!" Каждое ее слово резало меня, как ножом, но она говорила правду, вот это-то и мучило меня! Я поцеловала у нее руку и заплакала... Еще горше плакала я в своей каморке, лежа на постели... Один Бог знает, что за ночь я провела, как я страдала и боролась с собою!

Утром - это было в воскресенье - я отправилась к причастию в надежде, что Бог просветит мой ум. И вот он точно послал мне свое знамение: иду из церкви, а навстречу мне Эрик. Тут уж я перестала и колебаться - и впрямь, ведь мы были парой, хоть он и был человеком зажиточным. Вот я и подошла к нему, взяла его за руку и сказала:

"Ты все еще любишь меня по-прежнему?" "Люблю и буду любить вечно!" - отвечал он. "А хочешь ли ты взять за себя девушку, которая уважает тебя, но не любит, хотя, может быть, и полюбит со временем?"

"Полюбит непременно!" - сказал он, и мы подали друг другу руки. Я вернулась домой к госпоже. Золотое кольцо, что дал мне студент, я носила на груди, - я не смела надевать его на палец днем и надевала только по вечерам, когда ложилась спать. Я поцеловала кольцо так крепко, что кровь брызнула у меня из губ, потом отдала его госпоже и сказала, что на следующей неделе в церкви будет оглашение, - я выхожу за Эрика. Госпожа обняла меня и поцеловала... Она вот не говорила, что я "пропащая". Но, может статься, я в те времена, и правда, была лучше, хоть и не испытала еще столько горя! Сыграли свадьбу, и первый год дела у нас шли отлично; мы держали подмастерья и мальчика, да ты, Марен, служила у нас...

- И какую славную хозяйшю были вы! - сказала Марен. - Оба вы с мужем были такие добрые! Век не забуду!..

- Да, ты жила у нас в хорошие годы! Детей у нас тогда еще не было... Студента я больше не видала... Ах нет, видала раз, но он-то меня не видел! Он приезжал на похороны матери. Я видала его у ее могилы. Какой он был бледный, печальный! Понятно - горевал по матери. Когда же умер его отец, был в чужих краях и не приезжал, да и после не бывал ни разу. Он так и не женился! Кажется, он сделался адвокатом. Обо мне он и не вспоминал, и если бы даже увидел меня, не узнал бы - такую я стала безобразною. Да так оно и лучше.

Потом она стала рассказывать про тяжелые дни, когда одна беда валилась на них за другою. У них было пятьсот талеров, а в их улице продавался дом за двести; выгодно было купить его да сломать и построить на том же месте новый. Вот они и купили. Каменщики и плотники сделали смету, и вышло, что постройка будет стоить тысячу двадцать риксдалеров. Эрик имел кредит, и ему ссудили эту сумму из Копенгагена, но шкипер, который вез ее, погиб в море, а с ним и деньги.

- Тогда-то вот и родился мой милый сынок! А отец впал в тяжелую, долгую болезнь; девять месяцев пришлось мне одевать и раздевать его, как малого ребенка. Все пошло у нас прахом, задолжали мы кругом, все прожили; наконец умер и муж. Я из сил выбивалась, чтобы прокормиться с ребенком, мыла лестницы, стирала белье, и грубое и тонкое, но нужда одолевала нас все больше и больше... Так, видно, богу угодно!.. Но когда-нибудь да он сжалится надо мною, освободит меня и призрит мальчугана!

И она уснула.

Утром она чувствовала себя бодрее и решила, что может идти на работу. Но едва она ступила в холодную воду, с ней сделался озноб, и силы оставили ее. Судорожно взмахнула она рукой, сделала шаг вперед и упала. Голова попала на сухое место, на землю, а ноги остались в воде; деревянные башмаки ее с соломенною подстилкой поплыли по течению. Тут ее и нашла Марен, которая принесла ей кофе.

А от судьбы пришли в это время сказать прачке, чтобы она сейчас же шла к нему; ему надо было что-то сообщить ей. Поздно! Послали было за цирюльником, чтобы пустить ей кровь, но прачка уже умерла.

- Опилась! - сказал судья.

А в письме, принесшем известие о смерти младшего брата, было сообщено и о его завещании. Оказалось, что он отказал вдове перчаточника, служившей когда-то

его родителям, шестьсот риксдалеров. Деньги эти могли быть выданы сразу или понемножку - как найдут лучшим - ей и ее сыну.

- Значит, у нее были кое-какие дела с братцем! - сказал судья. - Хорошо, что ее нет больше в живых! Теперь мальчик получит все, и я постараюсь отдать его в хорошие руки, чтобы из него вышел дельный работник.

Судья призвал к себе мальчика и обещал заботиться о нем, а мать, дескать, отлично сделала, что умерла, - пропавшая была!

Прачку похоронили на кладбище для бедных. Марен посадила на могиле розовый куст; мальчик стоял тут же.

- Мамочка! - сказал он и заплакал. - Правда ли, что она была пропавшая?

- Неправда! - сказала старуха и взглянула на небо. - Я успела узнать ее, особенно за последнюю ночь! Хорошая она была женщина! И Господь Бог скажет то же самое, когда примет ее в Царство Небесное! А люди пусть себе называют ее пропавшей!

Пятеро из одного стручка

(Пер. П. Ганзен, А. Ганзен)

В стручке сидело пять горошин; сами они были зеленые, стручок тоже зеленый, ну, они и думали, что и весь мир зеленый; так и должно было быть!

Стручок рос, росли и горошины; они приноравливались к помещению и сидели все в ряд. Солнышко освещало и пригревало стручок, дождик поливал его, и он делался все чище, прозрачнее; горошинам было хорошо и уютно, светло днем и темно ночью, как и следует. Они все росли да росли и все больше и больше думали, сидя в стручке, - что-нибудь да надо же было делать!

- Век, что ли, сидеть нам тут? - говорили они. - Как бы нам не зачерстветь от такого сидения!.. А сдается нам, есть что-то и за нашим стручком! Уж такое у нас предчувствие!

Прошло несколько недель; горошины пожелтели, стручок тоже пожелтел.

- Весь мир желтеет! - сказали они, и кто ж бы им помешал говорить так?

Вдруг они почувствовали сильный толчок: стручок был сорван человеческой рукой и сунут в карман, к другим стручкам.

- Ну, вот теперь скоро нас выпустят на волю! - сказали горошины и стали ждать.

- А хотелось бы мне знать, кто из нас пойдет дальше всех! - сказала самая маленькая. - Впрочем, скоро увидим!

- Будь что будет! - сказала самая большая.

- Крак! - стручок лопнул, и все пять горошин выкатились на яркое солнце.

Они лежали на детской ладони; маленький мальчик разглядывал их и говорил, что они как раз пригодятся ему для стрельбы из бузинной трубочки. И вот одна горошина уже очутилась в трубочке, мальчик дунул, и она вылетела.

- Лечу, лечу, куда хочу! Лови, кто может! - закричала она, и след ее простыл.

- А я полечу прямо на солнце; вот настоящий-то стручок! Как раз по мне! - сказала другая. Простыл и ее след.

- А мы куда придем, там и заснем! - сказали две следующие. - Но мы таки до чего-нибудь докатимся! - Они и правда прокатились по полу, прежде чем попасть в бузинную трубочку, но все-таки попали в нее. - Мы дальше всех пойдем!

- Будь что будет! - сказала последняя, взлетела кверху, попала на старую деревянную крышу и закатилась в щель как раз под окошком чердачной каморки.

В щели был мох и рыхлая земля, мох укрыл горошину; так она и осталась там, скрытая, но не забытая Господом Богом.

- Будь что будет! - говорила она.

А в каморке жила бедная женщина. Она ходила на поденную работу: чистила печи, пилила дрова, словом исполняла всякую тяжелую работу; сил у нее было довольно, охоты работать тоже не занимать стать, но из нужды она все-таки не выбивалась! Дома оставалась у нее ее единственная дочка, подросток. Она была такая худенькая, тщедушная; целый год уж лежала в постели: не жила и не умирала.

- Она уйдет к сестренке, - говорила мать. - У меня ведь их две было.

Тяжеленько было мне кормить двоих; ну, вот Господь Бог и поделил со мною заботу, взял одну к себе! Другую-то мне хотелось бы сохранить, да он, видно, не хочет разлучать сестер!

Но больная девочка все не умирала; терпеливо, смиренно лежала она день-деньской в постели, пока мать была на работе.

Дело было весною, рано утром, перед самым уходом матери на работу.

Солнышко светило через маленькое окошечко прямо на пол, и больная девочка посмотрела в оконце.

- Что это там зеленеет за окном? Так и колыхнется от ветра!

Мать подошла к окну и приотворила его.

- Ишь ты! - сказала она. - Да это горошинка пустила ростки! И как она пошла сюда в щель? Ну, вот у тебя теперь будет свой садик!

Придвинув кроватку поближе к окну, чтобы девочка могла полюбоваться зеленым ростком, мать ушла на работу.

- Мама, я думаю, что поправлюсь! - сказала девочка вечером. - Солнышко сегодня так пригрело меня. Горошинка, видишь, как славно растет на солнышке? Я тоже поправлюсь, начну вставать и выйду на солнышко.

- Дай-то Бог! - сказала мать, но не верила, что это сбудется.

Однако она подперла зеленый росток, подбодривший девочку, небольшою палочкой, чтобы он не сломался от ветра; потом взяла тоненькую веревочку и один конец ее прикрепила к крыше, а другой привязала к верхнему краю оконной рамы. За эту веревочку побеги горошины могли цепляться, когда станут подрастать. Так и вышло: побеги заметно росли и ползли вверх по веревочке.

- Смотри-ка, да она скоро зацветет! - сказала женщина однажды утром и с этой минуты тоже стала надеяться и верить, что больная девочка ее поправится.

Ей припомнилось, что девочка в последнее время говорила как будто живет, по утрам сама приподнималась на постели и долго сидела, любуясь своим садиком, где росла одна-единственная горошина, а как блестели при этом ее глазки! Через неделю больная в первый раз встала с постели на целый час.

Как счастлива она была посидеть на солнышке! Окошко было отворено, а за окном покачивался распутившийся бело-розовый цветок. Девочка высунулась в окошко и нежно поцеловала тонкие лепестки. День этот был для нее настоящим праздником.

- Господь сам посадил и взрастил цветочек, чтобы ободрить и порадовать тебя, милое дитяtko, да и меня тоже! - сказала счастливая мать и улыбнулась цветочку, как ангелу небесному.

Ну, а другие-то горошины? Та, что летела, куда хотела, - лови, дескать, кто может, - попала в водосточный желоб, а оттуда в голубиный зоб и лежала там, как Иона во чреве кита. Две ленивицы ушли не дальше - их тоже проглотили голуби, значит и они принесли немалую пользу. А четвертая, что собиралась залететь на солнце, упала в канаву и пролежала несколько недель в затхлой воде, пока не разбухла.

- Как я славно раздобрела! - говорила горошина. - Право, я скоро лопну, а уж большего, я думаю, не сумела достичь ни одна горошина. Я самая замечательная из всех пяти!

Канавка была с нею вполне согласна.

А у окна, выходявшего на крышу, стояла девочка с сияющими глазами, румяная и здоровая; она сложила руки и благодарила Бога за цветочек гороха.

- А я все-таки стою за мою горошину! - сказала канавка.

Райский сад (Пер. А. Ганзен)

Жил-был принц; ни у кого не было столько хороших книг, как у него; он мог прочесть в них обо всем на свете, обо всех странах и народах, и все было изображено в них на чудесных картинках. Об одном только не было сказано ни слова: о том, где находится Райский сад, а вот это-то как раз больше всего и интересовало принца.

Когда он был еще ребенком и только что принимался за азбуку, бабушка рассказывала ему, что каждый цветок в Райском саду - сладкое пирожное, а тычинки налиты тончайшим вином; в одних цветах лежит история, в других - география или таблица умножения; стоило съесть такой цветок-пирожное - и урок выучивался сам собой. Чем больше, значит, кто-нибудь ел пирожных, тем больше узнавал из истории, географии и арифметики!

В то время принц еще верил всем таким рассказам, но по мере того как подрастал, учился и делался умнее, стал понимать, что в Райском саду должны быть совсем другие прелести.

- Ах, зачем Ева послушалась змия! Зачем Адам вкусил запретного плода! Будь на их месте я, никогда бы этого не случилось, никогда бы грех не проник в мир!

Так говорил он не раз и повторял то же самое теперь, когда ему было уже семнадцать лет; Райский сад заполнял все его мысли.

Раз пошел он в лес один-одинешенек, - он очень любил гулять один. Дело было к вечеру; набежали облака, и полил такой дождь, точно небо было одною сплошною плотиною, которую вдруг прорвало и из которой зараз хлынула вся вода; настала такая тьма, какая бывает разве только ночью на дне самого глубокого колодца. Принц то скользил по мокрой траве, то спотыкался о голые камни, торчавшие из скалистой почвы; вода лила с него ручьями; на нем не оставалось сухой нитки. То и дело приходилось ему перебираться через огромные глыбы, обросшие мхом, из которого сочилась вода. Он уже чуть не падал от усталости, как вдруг услышал какой-то странный свист и увидел перед собой большую освещенную пещеру. Посреди пещеры был разведен огонь, над которым можно было изжарить целого оленя, да так оно и было: на вертеле, укрепленном между двумя срубленными соснами, жарился огромный олень с большими ветвистыми рогами. У костра сидела пожилая женщина, такая крепкая и высокая, словно это был переодетый мужчина, и подбрасывала в огонь одно полено за другим.

- Войди, - сказала она. - Сядь у огня и обсушись.

- Здесь ужасный сквозняк, - сказал принц, подсев к костру.

- Ужо, как вернутся мои сыновья, еще хуже будет! - отвечала женщина, - Ты ведь в пещере ветров; мои четверо сыновей - ветры. Понимаешь?

- А где твои сыновья?

- На глупые вопросы не легко отвечать! - сказала женщина. - Мои сыновья не на помочах ходят! Играют, верно, в лапу облаками, там, в большой зале!

И она указала пальцем на небо.

- Вот как! - сказал принц. - Вы выражаетесь несколько резко, не так, как женщины нашего круга, к которым я привык.

- Да тем, верно, и делать-то больше нечего! А мне приходится быть резкой и суровой, если хочу держать в повиновении моих сыновей! А я держу их в руках, даром что они у меня упрямые головы! Видишь вон те четыре мешка, что висят на стене? Сыновья мои боятся их так же, как ты, бывало, боялся пучка розог, заткнутого за зеркало! Я гну их в три погибели и сажаю в мешок без всяких церемоний! Они и сидят там, пока я не смилуюсь! Но вот один уж пожаловал!

Это был Северный ветер. Он внес с собой в пещеру леденящий холод, поднялась метель, и по земле запрыгал град. Одет он был в медвежьи штаны и куртку; на уши спускалась шапка из тюленьей шкуры; на бороде висели ледяные сосульки, а с воротника куртки скатывались градины.

- Не подходите сразу к огню! - сказал принц. - Вы отморозите себе лицо и руки!

- Отморозжу! - сказал Северный ветер и громко захохотал. - Отморозжу! Да лучше мороза, по мне, нет ничего на свете! А ты что за кислятина? Как ты попал я пещеру ветров?

- Он мой гость! - сказала старуха, - А если тебе этого объяснения мало, можешь отправляться в мешок! Понимаешь?

Угроза подействовала, и Северный ветер рассказал, откуда он явился и где пробыл почти целый месяц.

- Я прямо с Ледовитого океана! - сказал он. - Был на Медвежьем острове, охотился на моржей с русскими промышленниками. Я сидел и спал на руле, когда они отплывали с Нордкапа; просыпаясь время от времени, я видел, как под ногами у меня шныряли буревестники. Презабавная птица! Ударит раз крыльями, а потом распластает их, да так и держится на них в воздухе долго-долго!..

- Нельзя ли покороче! - сказала мать. - Ты, значит, был на Медвежьем острове, что же дальше?

- Да, был. Там чудесно! Вот так пол для пляски! Ровный, гладкий, как тарелка! Повсюду рыхлый снег пополам со мхом, острые камни да остовы моржей и белых медведей, покрытые зеленой плесенью, - ну, словно кости великанов! Солнце, право, туда никогда, кажется, и не заглядывало. Я слегка подул и разогнал туман, чтобы рассмотреть какой-то сарай; оказалось, что это было жилье, построенное из корабельных обломков и покрытое моржовыми шкурами, вывернутыми наизнанку; на крыше сидел белый медведь и ворчал. Потом я пошел на берег, видел там птичьи гнезда, а в них голых птенцов; они пищали и разевали рты; я взял да и дунул в эти бесчисленные глотки - небось живо отучились смотреть разинув рот! У самого моря играли, будто живые кишки или исполинские черви с свинными головами и аршинными клыками, моржи!

- Славно рассказываешь, сынок! - сказала мать. - Просто слюнки текут, как слушаешь!

- Ну, а потом началась ловля! Как всадят гарпун моржу в грудь, так кровь и брызнет фонтаном на лед? Тогда и я задумал себя потешить, завел свою музыку и велел моим кораблям - ледяным горам - сдавить лодки промышленников. У! Вот пошел свист и крик, да меня не пересвистишь!

Пришлось им выбрасывать убитых моржей, ящики и снасти на льдины? А я вытряхнул на них целый ворох снежных хлопьев и погнал их стиснутые льдами суда к югу - пусть похлебают соленьюшкой водицы! Не вернуться им на Медвежий остров!

- Так ты порядком набедокурил! - сказала мать.

- О добрых делах моих пусть расскажут другие! - сказал он. - А вот и брат мой с запада! Его я люблю больше всех: он пахнет морем и дышит благодатным холодком.

- Так это маленький зефир? - спросил принц.

- Зефир-то зефир, только не из маленьких! - сказала старуха. - В старину и он был красивым мальчуганом, ну, а теперь не то!

Западный ветер выглядел дикарем; на нем была мягкая, толстая, предохраняющая голову от ударов и ушибов шапка, а в руках палица из красного дерева, срубленного в американских лесах, на другую он бы не согласился.

- Где был? - спросила его мать.

- В девственных лесах, где между деревьями повисли целые изгороди из колючих лиан, а во влажной траве лежат огромные ядовитые змеи и где, кажется, нет никакой надобности в человеке! - отвечал он.

- Что ж ты там делал?

- Смотрел, как низвергается со скалы большая, глубокая река, как поднимается от нее к облакам водяная пыль, служащая опорой радуге.

Смотрел, как переплывал реку дикий буйвол; течение увлекало его с собой, и он плыл вниз по реке вместе со стаей диких уток, но те вспорхнули перед самым водопадом, а буйволу пришлось полететь головой вниз; это мне понравилось, и я учинил такую бурю, что вековые деревья поплыли по воде и превратились в щепки.

- И это все? - спросила старуха.

- Еще я кувыркался в саваннах, гладил диких лошадей и рвал кокосовые орехи! О, у меня много о чем найдется порассказать, но не все же говорить, что знаешь. Так-то, старая!

И он так поцеловал мать, что та чуть не опрокинулась навзничь; такой уж он был необузданный парень.

Затем явился Южный ветер в чалме и развевающимся плаще бедуинов.

- Экая у вас тут стужа! - сказал он и подбросил в костер дров. - Видно, что Северный первым успел пожаловать!

- Здесь такая жарница, что можно изжарить белого медведя! - возразил тот.

- Сам-то ты белый медведь! - сказал Южный.

- Что, в мешок захотели? - спросила старуха. - Садись-ка вот тут на камень да рассказывай, откуда ты.

- Из Африки, матушка, из земли кафров! - отвечал Южный ветер, - Охотился на львов с готтентотами! Какая трава растет там на равнинах! Чудесного оливкового цвета! Сколько там антилоп и страусов! Антилопы плясали, а страусы бегали со мной наперегонки, да я побыстрее их на ногу! Я дошел и до желтых песков пустыни - она похожа на морское дно. Там настиг я караван. Люди зарезали последнего своего верблюда, чтобы из его желудка добыть воды для питья, да немногим пришлось им поживиться! Солнце пекло их сверху, а песок поджаривал снизу. Конца не было безграничной пустыне! А я принялся валяться по мелкому, мягкому песку и крутить его огромными столбами; вот так пляска пошла! Посмотрела бы ты, как столпились в кучу дромадеры, а купец накинуд на голову капюшон и упал передо мною ниц, точно перед своим аллахом. Теперь все они погребены под высокой пирамидой из песка. Если мне когда-нибудь вздумается смести ее прочь, солнце выбелит их кости, и другие путники по крайней мере увидят, что тут бывали люди, а то трудно и поверить этому, глядя на голую пустыню!

- Ты, значит, только и делал одно зло! - сказала мать, - Марш в мешок!

И не успел Южный ветер опомниться, как мать схватила его за пояс и упрятала в мешок; он было принялся кататься в мешке по полу, но она уселась на него, и ему пришлось лежать смиренно.

- Бойкие же у тебя сыновья! - сказал принц.

- Ничего себе! - отвечала она. - Да я умею управляться с ними! А вот и четвертый!

Это был Восточный ветер, одетый китайцем.

- А, ты оттуда! - сказала мать, - Я думала, что ты был в Райском саду.

- Туда я полечу завтра! - сказал Восточный ветер. - Завтра будет ведь ровно сто лет, как я не был там! Теперь же я прямо из Китая, плясал на фарфоровой башне, так что все колокольчики звенели! Внизу, на улице, наказывали чиновников; бамбуковые трости так и гуляли у них по плечам, а это все были мандарины от первой до девятой степени! Они кричали: "Великое спасибо тебе, отец и благодетель!" - про себя же думали совсем другое. А я в это время звонил в колокольчики и припевал: "Тзинг, тзанг, тзу!"

- Шалун! - сказала старуха. - Я рада, что ты завтра отправляешься в Райский сад, это путешествие всегда приносит тебе большую пользу. Напейся там из источника Мудрости, да зачерпни из него полную бутылку водицы и для меня!

- Хорошо, - сказал Восточный ветер. - Но за что ты посадила в мешок брата Южного? Выпусти его! Он мне расскажет про птицу Феникс, о которой все спрашивает принцесса Райского сада. Развяжи мешок, милая, дорогая мамаша, а я подарю тебе целых два кармана, зеленого свежего чаю, только что с куста!

- Ну, разве за чай, да еще за то, что ты мой любимчик, так и быть, развяжу его!

И она развязала мешок; Южный ветер вылез оттуда с видом мокрой курицы: еще бы, чужой принц видел, как его наказали.

- Вот тебе для твоей принцессы пальмовый лист! - сказал он Восточному. - Я получил его от старой птицы Феникс, единственной в мире; она начертила на нем клювом историю своей столетней земной жизни. Теперь принцесса может прочесть обо всем, что ей захотелось бы знать. Птица Феникс на моих глазах сама подожгла свое гнездо и была охвачена пламенем, как индийская вдова!

Как затрещали сухие ветки, какие: пошли от них дым и благоухание! Наконец пламя пожрало все, и старая птица Феникс превратилась в пепел, но снесенное ею яйцо, горевшее в пламени, как жар, вдруг лопнуло с сильным треском, и оттуда вылетел молодой Феникс. Он проклянул на этом пальмовом листе дырочку: это его поклон принцессе!

- Ну, теперь пора нам подкрепиться немножко! - сказала мать ветров.

Все уселись и принялись за оленя. Принц сидел рядом с Восточным ветром, и они скоро стали, друзьями.

- Скажи-ка ты мне, - спросил принц у соседа, - что это за принцесса, про которую вы столько говорили, и где находится Райский сад?

- Ого! - сказал Восточный ветер. - Коли хочешь побывать там, полетим завтра вместе! Но я должен тебе сказать, что со времен Адама и Евы там не бывало ни единой человеческой души! А что было с ними, ты, наверное, уж знаешь?

- Знаю! - сказал принц.

- После того как они были изгнаны, - продолжал Восточный, - Райский сад ушел в землю, но в нем царит прежнее величие, по-прежнему светит солнце и в воздухе разлиты необыкновенные свежесть и аромат! Теперь в нем обитает королева фей. Там же находится чудно-прекрасный остров Блаженства, куда никогда не заглядывает Смерть! Сядешь мне завтра на спину, и я снесу тебя туда. Я думаю, что это удастся. А теперь не болтай больше, я хочу спать!

И все заснули.

На заре принц проснулся, и ему сразу стало жутко: оказалось, что он уже летит высоко-высоко под облаками! Он сидел на спине у Восточного ветра, и тот добросовестно держал его, но принцу все-таки было боязно: они неслись так высоко над землей, что леса, поля, реки и моря казались нарисованными на огромной раскрашенной карте.

- Здравствуй, - сказал принцу Восточный ветер. - Ты мог бы еще поспать, посмотреть-то пока не на что. Разве церкви вздумаешь считать! Видишь, сколько их? Стоят, точно меловые точки на зеленой доске!

Зеленою доской он называл поля и луга.

- Как это вышло невежливо, что я не простился с твоею матерью и твоими братьями! - сказал принц.

- Сонному приходится извинить! - сказал Восточный ветер, а они полетели еще быстрее; это было заметно по тому, как шумели под ними верхушки лесных деревьев, как вздымались морские волны я как глубоко ныряли в них грудью, точно лебеди, корабли.

Под вечер, когда стемнело, было очень забавно смотреть на большие города, в которых то там, то сям вспыхивали огоньки, - казалось, это перебегают по зажженной бумаге мелкие искорки, словно дети бегут домой из школы. И принц, глядя на это зрелище, захлопал в ладошки, но Восточный ветер попросил его вести себя потише да держаться покрепче - не мудрено ведь было и свалиться да повиснуть на каком-нибудь башенном шпиле.

Быстро и легко неся на своих могучих крыльях дикий орел, но Восточный ветер неся еще легче, еще быстрее; по равнине вихрем мчался казак на своей маленькой лошадке, да куда ему было угнаться за принцем!

- Ну, вот тебе и Гималаи! - сказал Восточный ветер, - Это высочайшая горная цепь в Азии, скоро мы доберемся и до Райского сада!

Они свернули к югу, и вот в воздухе разлились сильный пряный аромат и благоухание цветов. Финики, гранаты и виноград с синими и красными ягодами росли здесь. Восточный ветер спустился с принцем на землю, и оба улеглись отдохнуть в мягкую траву, где росло множество цветов, кивавших им головками, как бы говоря: "Милости просим!"

- Мы уже в Райском саду? - спросил принц.

- Ну что ты! - отвечал Восточный ветер, - Но скоро попадем и туда! Видишь эту отвесную, как стена, скалу и в ней большую пещеру, над входом которой спускаются, будто зеленый занавес, виноградные дозы? Мы должны пройти через эту пещеру! Завернись хорошенько в плащ: тут палит солнце, но один шаг - и нас охватит мороз. У птицы, пролетающей мимо пещеры, одно крыло чувствует летнее тепло, а другое - зимний холод!

- Так вот она, дорога в Райский сад! - сказал принц.

И они вошли в пещеру. Брр... как им стало холодно! Но, к счастью, ненадолго.

Восточный ветер распростер свои крылья, и от них разлился свет, точно от яркого пламени. Нет, что это была за пещера! Над головами путников нависали огромные, имевшие самые причудливые формы каменные глыбы, с которых капала вода. Порой проход так суживался, что им приходилось пробираться ползком, иногда же своды пещеры опять поднимались на недосягаемую высоту, и путники шли точно на вольном просторе под открытым небом. Пещера казалась какою-то гигантскою усыпальницей с немymi органами трубами и знаменами, выточенными из камня.

- Мы идем в Райский сад дорогой смерти! - сказал принц, но Восточный ветер не ответил ни слова и указал перед собою рукою: навстречу им струился чудный голубой свет; каменные глыбы мало-помалу стали редеть, таять и превращаться в какой-то туман. Туман становился все более и более прозрачным, пока наконец не стал походить на пушистое белое облачко, сквозь которое просвечивает месяц. Тут они вышли на вольный воздух - чудный, мягкий воздух, свежий, как на горной вершине, и благоуханный, как в долине роз.

Тут же струилась река; вода в ней спорила прозрачностью с самим воздухом. А в реке плавали золотые и серебряные рыбки, и пурпурово-красные угри сверкали при каждом движении голубыми искрами; огромные листья кувшинок пестрели всеми цветами радуги, а чашечки их горели желто-красным пламенем, поддерживаемым чистою водой, как пламя лампы поддерживается маслом. Через реку был

переброшен мраморный мост такой тонкой и искусной работы, что, казалось, был сделан из кружев и бус; мост вел на остров Блаженства, на котором находился сам Райский сад.

Восточный ветер взял принца на руки и перенес его через мост. Цветы и листья пели чудесные песни, которые принц слышал еще в детстве, но теперь они звучали такую дивною музыкой, какой не может передать человеческий голос.

А это что? Пальмы или гигантские папоротники? Таких сочных, могучих деревьев принц никогда еще не видывал. Диковинные ползучие растения обвивали их, спускались вниз, переплетались и образовывали самые причудливые, отливавшие по краям золотом и яркими красками гирлянды; такие гирлянды можно встретить разве только в заставках и начальных буквах старинных книг. Тут были и яркие цветы, и птицы, и самые затейливые завитушки. В траве сидела, блестя распушенными хвостами, целая стая павлинов.

Да павлинов ли? Конечно павлинов! То-то что нет: принц потрогал их, и оказалось, что это вовсе не птицы, а растения, огромные кусты репейника, блестящего самыми яркими красками! Между зелеными благоухающими кустами дрыгали, точно гибкие кошки, львы, тигры; кусты пахли оливками, а звери были совсем ручные; дикая лесная голубка, с жемчужным отливом на перьях, хлопала льва крылышками по гриве, а антилопа, вообще такая робкая и пугливая, стояла возле них и кивала головой, словно давая знать, что и она не прочь поиграть с ними.

Но вот появилась сама фея; одежды ее сверкали, как солнце, а лицо сияло такою лаской и приветливою улыбкой, как лицо матери, радующейся на своего ребенка. Она была молода и чудо как хороша собой; ее окружали красавицы девушки с блестящими звездами в волосах.

Восточный ветер подал ей послание птицы Феникс, и глаза феи заблестели от радости. Она взяла принца за руку и повела его в свой замок; стены замка были похожи на лепестки тюльпана, если их держать против солнца, ж потолок был блестящим цветком, опрокинутым вниз чашечкой, углублявшейся тем больше, чем дальше в него всматривались. Принц подошел к одному из окон, поглядел в стекло, и ему показалось, что он видит дерево познания добра и зла; в ветвях его пряталась змея, а возле стояли Адам и Ева.

- Разве они не изгнаны? - спросил принц.

Фея улыбнулась и объяснила ему, что на каждом стекле время начертало неизгладимую картину, озаренную жизнью: листья дерева шевелились, а люди двигались, - ну вот как бывает с отражениями в зеркале! Принц подошел к другому окну и увидел на стекле сон Иакова: с неба спускалась лестница, а по ней сходили и восходили ангелы с большими крыльями за плечами. Да, все, что было или совершилось когда-то на свете, по-прежнему жило и двигалось на оконных стеклах замка; такие чудесные картины могло начертать своим неизгладимым резцом лишь время.

Фея, улыбаясь, ввела принца в огромный, высокий покой, со стенами из прозрачных картин, - из них повсюду выглядывали головки, одна прелестнее другой. Это были сонмы блаженных духов; они улыбались и пели; голоса их сливались в одну дивную гармонию; самые верхние из них были меньше бутонов розы, если их нарисовать на бумаге в виде крошечных точек. Посреди этого покоя стояло могучее дерево, покрытое зеленью, в которой сверкали большие и маленькие золотистые, как апельсины, яблоки. То было дерево познания добра и зла, плодов которого вкусили когда-то Адам и Ева. С каждого листика капала блестящая красная роса, - дерево точно плакало кровавыми слезами.

- Сядем теперь в лодку! - сказала фея. - Нас ждет там такое угощение, что чудо! Представь, лодка только покачивается на волнах, но не двигается, а все страны света сами проходят мимо!

И в самом деле, это было поразительное зрелище; лодка стояла, а берега двигались! Вот показались высокие снежные Альпы с облаками и темными сосновыми лесами на вершинах, протяжно-жалобно прозвучал рог, и раздалась, звучная песня горного пастуха. Вот над лодкой свесились, длинные гибкие листья бананов; поплыли стаи черных как смоль лебедей; показались удивительнейшие животные и цветы, а вдали поднялись голубые горы; это была Новая Голландия, пятая часть света. Вот послышалось пение жрецов, и под звуки барабанов и костяных флейт закружились в бешеной пляске толпы дикарей. Мимо проплыли вздымавшиеся к облакам египетские пирамиды, низверженные колонны и сфинксы, наполовину погребенные в песке. Вот осветились северным сиянием потухшие вулканы севера. Да, кто бы мог устроить подобный фейерверк? Принц был вне себя от восторга: еще бы, он-то видел ведь во сто раз больше, чем мы тут рассказываем.

- И я могу здесь остаться навсегда? - спросил он.

- Это зависит от тебя самого! - отвечала фея. - Если ты не станешь добиваться запрещенного, как твой прародитель Адам, то можешь остаться здесь навеки!

- Я не дотронусь до плодов познания добра и зла! - сказал принц. - Тут ведь тысячи других прекрасных плодов!

- Испытай себя, и если борьба покажется тебе слишком тяжелой, улетай обратно с Восточным ветром, который вернется сюда опять через сто лет! Сто лет пролетят для тебя, как сто часов, но это довольно долгий срок, если дело идет о борьбе с греховным соблазном. Каждый вечер, расставаясь с тобой, - буду я звать тебя: "Ко мне, ко мне!" Стану манить тебя рукой, но ты не трогайся с места, не иди на мой зов; с каждым шагом тоска желания будет в тебе усиливаться и наконец увлечет тебя в тот покой, где стоит дерево познания добра и зла. Я буду спать под его благоухающими пышными ветвями, и ты наклонишься, чтобы рассмотреть меня поближе; я улыбнусь тебе, и ты поцелуешь меня... Тогда Райский сад уйдет в землю еще глубже и будет для тебя потерян. Резкий ветер будет пронизывать тебя до костей, холодный дождь - мочить твою голову; горе и бедствия будут твоим уделом!

- Я остаюсь! - сказал принц.

Восточный ветер поцеловал принца в лоб и сказал:

- Будь тверд, и мы свидимся опять через сто лет! Прощай, прощай!

И Восточный ветер взмахнул своими большими крылами, блеснувшими, как зарница во тьме осенней ночи или как северное сияние во мраке полярной зимы.

- Прощай! Прощай! - запели все цветы и деревья. Стаи аистов и пеликанов полетели, точно развевающиеся ленты, проводить Восточного ветра до границ сада.

- Теперь начнутся танцы! - сказала фея. - Но на закате солнца, танцуя с тобой, я начну манить тебя рукой и звать: "Ко мне! Ко мне!" Не слушай же меня! В продолжение ста лет каждый вечер будет повторяться то же самое, но ты с каждым днем будешь становиться все сильнее и сильнее и под конец перестанешь даже обращать на мой зов внимание. Сегодня вечером тебе предстоит выдержать первое испытание! Теперь ты предупрежден!

И фея повела его в обширный покой из белых прозрачных лилий с маленькими, игривыми сами собою, золотыми арфами вместо тычинок. Прелестные стройные девушки в прозрачных одеждах понеслись в воздушной пляске и запели о радостях и блаженстве бессмертной жизни в вечно цветущем Райском саду.

Но вот солнце село, небо засияло, как расплавленное золото, и на лилии упал розовый отблеск. Принц выпил пенистого вина, поднесенного ему девушками, и почувствовал прилив несказанного блаженства. Вдруг задняя стена покоя

раскрылась, и принц увидел дерево познания добра и зла, окруженное ослепительным сиянием, из-за дерева неслась тихая, ласкающая слух песня; ему почудился голос его матери, певшей: "Дитя мое! Мое милое, дорогое дитя!"

И фея стала манить его рукой и звать нежным голосом: "Ко мне, ко мне!" Он двинулся за нею, забыв свое обещание в первый же вечер! А она все манила его и улыбалась... Пряный аромат, разлитый в воздухе, становился все сильнее; арфы звучали все слаще; казалось, что это пели хором сами блаженные духи: "Все нужно знать! Все надо изведать! Человек - царь природы!" Принцу показалось, что с дерева уже не капала больше кровь, а сыпались красные блестящие звездочки. "Ко мне! Ко мне!" - звучала воздушная мелодия, и с каждым шагом щеки принца разгорались, а кровь волновалась все сильнее и сильнее.

- Я должен идти! - говорил он. - В этом ведь нет и не может быть греха! Зачем убегать от красоты и наслаждения? Я только полюбуюсь, посмотрю на нее спящую! Я ведь не поцелую ее! Я достаточно тверд и сумею совладать с собой!

Сверкающий плащ упал с плеч феи; она раздвинула ветви дерева и в одно мгновение скрылась за ним.

- Я еще не нарушил обещания! - сказал принц. - И не хочу его нарушать! С этими словами он раздвинул ветви... Фея спала такая прелестная, какую может быть только фея Райского сада. Улыбка играла на ее устах, но на длинных ресницах дрожали слезинки.

- Ты плачешь из-за меня? - прошептал он. - Не плачь, очаровательная фея! Теперь только я понял райское блаженство, оно течет огнем в моей крови, воспаляет мысли, я чувствую неземную силу и мощь во всем своем существе!.. Пусть же настанет для меня потом вечная ночь - одна такая минута дороже всего в мире!

И он поцеловал слезы, дрожавшие на ее ресницах, уста его прикоснулись к ее устам.

Раздался страшный удар грома, какого не слышал еще никогда никто, и все смешалось в глазах принца; фея исчезла, цветущий Райский сад ушел глубоко в землю. Принц видел, как он исчезал во тьме непроглядной ночи, и вот от него осталась только маленькая сверкающая вдали звездочка. Смертный холод сковал его члены, глаза закрылись, и он упал как мертвый.

Холодный дождь мочил ему лицо, резкий ветер леденил голову, и он очнулся.

- Что я сделал! - вздохнул он. - Я нарушил свой обет, как Адам, и вот Райский сад ушел глубоко в землю!

Он открыл глаза; вдали еще мерцала звездочка, последний след исчезнувшего рая. Это сияла на небе утренняя звезда.

Принц встал; он был опять в том же лесу, у пещеры ветров; возле него сидела мать ветров. Она сердито посмотрела на него и грозно подняла руку.

- В первый же вечер! - сказала она, - Так я и думала! Да, будь ты моим сыном, сидел бы ты теперь в мешке!

- Он еще попадет туда! - сказала Смерть, - это был крепкий старик с косою в руке и большими черными крыльями за спиной. - И он уляжется в гроб, хоть и не сейчас. Я лишь отмечу его и дам ему время постранствовать по белу свету и искупить свой грех добрыми делами! Потом я приду за ним в тот час, когда он меньше всего будет ожидать меня, упрячу его в черный гроб, поставлю себе на голову и отнесу его вон на ту звезду, где тоже цветет Райский сад; если он окажется добрым и благочестивым, он вступит туда, если же его мысли и сердце будут по-прежнему полны греха, гроб опустится с ним еще глубже, чем опустился Райский сад. Но каждую тысячу лет я буду приходить за ним, для того чтобы он погрузился еще глубже, или остался бы навеки на сияющей небесной звезде!

Русалочка (Пер. А. Ганзен)

Далеко в море вода синяя-синяя, как лепестки самых красивых васильков, и прозрачная-прозрачная, как самое чистое стекло, только очень глубока, так глубока, что никакого якорного каната не хватит. Много колоколен надо поставить одну на другую, тогда только верхняя выглянет на поверхность. Там на дне живет подводный народ.

Только не подумайте, что дно голое, один только белый песок. Нет, там растут невиданные деревья и цветы с такими гибкими стеблями и листьями, что они шевелятся, словно живые, от малейшего движения воды. А между ветвями снуют рыбы, большие и маленькие, совсем как птицы в воздухе у нас наверху. В самом глубоком месте стоит дворец морского царя - стены его из кораллов, высокие стрельчатые окна из самого чистого янтаря, а крыша сплошь раковины; они то открываются, то закрываются, смотря по тому, прилив или отлив, и это очень красиво, ведь в каждой лежат сияющие жемчужины - одна-единственная была бы великим украшением в короне любой королевы.

Царь морской давным-давно овдовел, и хозяйством у него заправляла старуха мать, женщина умная, только больно уж гордившаяся своей родовитостью: на хвосте она носила целых двенадцать устриц, тогда как прочим вельможам полагалось только шесть. В остальном же она заслуживала всяческой похвалы, особенно потому, что души не чаяла в своих маленьких внучках - принцессах. Их было шестеро, все прехорошенькие, но милее всех самая младшая, с кожей чистой и нежной, как лепесток розы, с глазами синими и глубокими, как море. Только у нее, как у остальных, ног не было, а вместо них был хвост, как у рыб.

День-деньской играли принцессы во дворце, в просторных палатах, где из стен росли живые цветы. Раскрывались большие янтарные окна, и внутрь врывались рыбы, совсем как у нас ласточки влетают в дом, когда окна стоят настежь, только рыбы подплывали прямо к маленьким принцессам, брали из их рук еду и позволяли себя гладить.

Перед дворцом был большой сад, в нем росли огненнокрасные и темно-синие деревья, плоды их сверкали золотом, цветы - горячим огнем, а стебли и листья непрестанно колыхались. Земля была сплошь мелкий песок, только голубоватый, как серное пламя. Все там внизу отдавало в какую-то особенную синеву, - впору было подумать, будто стоишь не на дне морском, а в воздушной вышине, и небо у тебя не только над головой, но и под ногами. В безветрие со дна видно было солнце, оно казалось пурпурным цветком, из чаши которого льется свет.

У каждой принцессы было в саду свое местечко, здесь они могли копать и сажать что угодно. Одна устроила себе цветочную грядку в виде кита, другой вздумалось, чтобы ее грядку гляделась русалкой, а самая младшая сделала себе грядку, круглую как солнце, и цветы на ней сажала такие же алые, как оно само. Странное дитя была эта русалочка, тихое, задумчивое. Другие сестры украшали себя разными разностями, которые находили на потонувших кораблях, а она только и любила, что цветы ярко-красные, как солнце там, наверху, да еще красивую мраморную статую. Это был прекрасный мальчик, высеченный из чистого белого камня и спустившийся на дно морское после кораблекрушения. Возле статуи русалочка посадила розовую плакучую иву, она пышно разрослась и свешивала свои ветви над статуей к голубому песчаному дну, где получалась фиолетовая тень, зыблющаяся в лад колыханию ветвей, и от этого казалось, будто верхушка и корни ластятся друг к другу.

Больше всего русалочка любила слушать рассказы о мире людей там, наверху. Старой бабушке пришлось рассказать ей все, что она знала о кораблях и городах, о

людях и животных. Особенно чудесным и удивительным казалось русалочке то, что цветы на земле пахнут, - не то что здесь, на морском дне, - леса там зеленые, а рыбы среди ветвей поют так громко и красиво, что просто заслушаешься. Рыбами бабушка называла птиц, иначе внушки не поняли бы ее: они ведь сроду не видывали птиц.

- Когда вам исполнится пятнадцать лет, - говорила бабушка, - вам позволят всплывать на поверхность, сидеть в лунном свете на скалах и смотреть на плывущие мимо огромные корабли, на леса и города!

В этот год старшей принцессе как раз исполнялось пятнадцать лет, но сестры были погодки, и выходило так, что только через пять лет самая младшая сможет подняться со дна морского и увидеть, как живет наверху. Но каждая обещала рассказать остальным, что она увидела и что ей больше всего понравилось в первый день, - рассказов бабушки им было мало, хотелось знать побольше.

Ни одну из сестер не тянуло так на поверхность, как самую младшую, тихую, задумчивую русалочку, которой приходилось ждать дольше всех. Ночь за ночью проводила она у открытого окна и все смотрела вверх сквозь темно-синюю воду, в которой плескались хвостами и плавниками рыбы. Месяц и звезды виделись ей, и хоть светили они совсем бледно, зато казались сквозь воду много больше, чем нам. А если под ними скользило как бы темное облако, знала она, что это либо кит проплывает, либо корабль, а на нем много людей, и, уж конечно, им и в мысль не приходило, что внизу под ними хорошенькая русалочка тянется к кораблю своими белыми руками.

И вот старшей принцессе исполнилось пятнадцать лет, и ей позволили всплыть на поверхность.

Сколько было рассказов, когда она вернулась назад! Ну, а лучше всего, рассказывала она, было лежать в лунном свете на отмели, когда море спокойно, и рассматривать большой город на берегу: точно сотни звезд, там мерцали огни, слышалась музыка, шум и гул экипажей и людей, виднелись колокольни и шпили, звонили колокола. И как раз потому, что туда ей было нельзя, туда и тянуло ее больше всего.

Как жадно внимала ее рассказам самая младшая сестра! А потом, вечером, стояла у открытого окна и смотрела вверх сквозь темно-синюю воду и думала о большом городе, шумном и оживленном, и ей казалось даже, что она слышит звон колоколов.

Через год и второй сестре позволили подняться на поверхность и плыть куда угодно. Она вынырнула из воды как раз в ту минуту, когда солнце садилось, и решила, что прекраснее зрелища нет на свете. Небо было сплошь золотое, сказала она, а облака - ах, у нее просто нет слов описать, как они красивы! Красные и фиолетовые, плыли они по небу, но еще быстрее неслась к солнцу, точно длинная белая вуаль, стая диких лебедей. Она тоже поплыла к солнцу, но оно погрузилось в воду, и розовый отсвет на море и облаках погас.

Еще через год поднялась на поверхность третья сестра. Эта была смелее всех и проплыла в широкую реку, которая впадала в море. Она увидела там зеленые холмы с виноградниками, а из чащи чудесного леса выглядывали дворцы и усадьбы. Она слышала, как поют птицы, а солнце пригревало так сильно, что ей не раз приходилось нырять в воду, чтобы остудить свое пылающее лицо. В бухте ей попала целая стая маленьких человеческих детей, они бегали нагишом и плескались в воде. Ей захотелось поиграть с ними, но они испугались ее и убежали, а вместо них явился какой-то черный зверек - это была собака, только ведь ей еще ни разу не доводилось видеть собаку - и залаял на нее так страшно, что она перепугалась и уплыла назад в море. Но никогда не забыть ей чудесного леса,

зеленых холмов и прелестных детей, которые умеют плавать, хоть и нет у них рыбьего хвоста.

Четвертая сестра не была такой смелой, она держалась в открытом море и считала, что там-то и было лучше всего: море видно вокруг на много-много миль, небо над головой как огромный стеклянный купол. Видела она и корабли, только совсем издалека, и выглядели они совсем как чайки, а еще в море кувыркались резвые дельфины и киты пускали из ноздрей воду, так что казалось, будто вокруг били сотни фонтанов.

Дошла очередь и до пятой сестры. Ее день рождения был зимой, и поэтому она увидела то, чего не удалось увидеть другим. Море было совсем зеленое, рассказывала она, повсюду плавали огромные ледяные горы, каждая ни дать ни взять жемчужина, только куда выше любой колокольни, построенной людьми.

Они были самого причудливого вида и сверкали, словно алмазы. Она уселась на самую большую из них, ветер развеивал ее длинные волосы, и моряки испуганно обходили это место подальше. К вечеру небо заволкло тучами, засверкали молнии, загредел гром, почерневшее море вздымало ввысь огромные ледяные глыбы, озаряемые вспышками молний. На кораблях убрали паруса, вокруг был страх и ужас, а она как ни в чем не бывало плыла на своей ледяной горе и смотрела, как молнии синими зигзагами ударяют в море.

Так вот и шло: выплывет какая-нибудь из сестер первый раз на поверхность, восхищается всем новым и красивым, ну а потом, когда взрослой девушкой может подниматься вверх в любую минуту, все становится ей неинтересно и она стремится домой и уже месяц спустя говорит, что у них внизу лучше всего, только здесь и чувствуешь себя дома.

Часто по вечерам, обнявшись, всплывали пять сестер на поверхность. У всех были дивные голоса, как ни у кого из людей, и когда собиралась буря, грозившая гибелью кораблям, они плыли перед кораблями и пели так сладко, о том, как хорошо на морском дне, уговаривали моряков без боязни спуститься вниз. Только моряки не могли разобрать слов, им казалось, что это просто шумит буря, да и не довелось бы им увидеть на дне никаких чудес - когда корабль тонул, люди захлебывались и попадали во дворец морского царя уже мертвыми.

Младшая же русалочка, когда сестры ее всплывали вот так на поверхность, оставалась одна-одинешенька и смотрела им вслед, и ей впору было заплакать, да только русалкам не дано слез, и от этого ей было еще горше.

- Ах, когда же мне будет пятнадцать лет! - говорила она. - Я знаю, что очень люблю и тот мир, и людей, которые там живут!

Наконец и ей исполнилось пятнадцать лет.

- Ну вот, вырастили и тебя! - сказала бабушка, вдовствующая королева.

- Поди-ка сюда, я украшу тебя, как остальных сестер!

И она надела русалочке на голову венок из белых лилий, только каждый лепесток был половинкой жемчужины, а потом нацепила ей на хвост восемь устриц в знак ее высокого сана.

- Да это больно! - сказала русалочка.

- Чтоб быть красивой, можно и потерпеть! - сказала бабушка.

Ах, как охотно скинула бы русалочка все это великолепие и тяжелый венок! Красные цветы с ее грядки пошли бы ей куда больше, но ничего не поделаешь.

- Прощайте! - сказала она и легко и плавно, словно пузырек воздуха, поднялась на поверхность.

Когда она подняла голову над водой, солнце только что село, но облака еще отсвечивали розовым и золотым, а в бледно-красном небе уже зажглись ясные вечерние звезды; воздух был мягкий и свежий, море спокойно. Неподалеку стоял

трехмачтовый корабль всего лишь с одним поднятым парусом - не было ни малейшего ветерка. Повсюду на снастях и реях сидели матросы. С палубы раздавалась музыка и пение, а когда совсем стемнело, корабль осветился сотнями разноцветных фонариков и в воздухе словно бы замелькали флаги всех наций. Русалочка подплыла прямо к окну каюты, и всякий раз, как ее приподымало волной, она могла заглянуть внутрь сквозь прозрачные стекла.

Там было множество нарядно одетых людей, но красивее всех был молодой принц с большими черными глазами. Ему, наверное, было не больше шестнадцати лет. Праздновался его день рождения, оттого-то на корабле и шло такое веселье. Матросы плясали на палубе, а когда вышел туда молодой принц, в небо взмыли сотни ракет, и стало светло, как днем, так что русалочка совсем перепугалась и нырнула в воду, но тут же опять высунула голову, и было так, будто все звезды с неба падают к ней в море. Никогда еще не видала она такого фейерверка. Вертелись колесом огромные солнца, взлетали в синюю высь чудесные огненные рыбы, и все это отражалось в тихой, ясной воде. На самом корабле было так светло, что можно было различить каждый канат, а людей и подавно. Ах, как хорош был молодой принц! Он пожимал всем руки, улыбался и смеялся, а музыка все гремела и гремела в чудной ночи.

Уже поздно было, а русалочка все не могла глаз оторвать от корабля и от прекрасного принца. Погасли разноцветные фонарики, не взлетали больше ракеты, не гремели пушки, зато загудело и заворчало в глуби морской.

Русалочка качалась на волнах и все заглядывала в каюту, а корабль стал набирать ход, один за другим распускались паруса, все выше вздымались волны, собирались тучи, вдали засверкали молнии.

Надвигалась буря, матросы принялись убирать паруса. Корабль, раскачиваясь, летел по разбушевававшемуся морю, волны вздымались огромными черными горами, норовя перекатиться через мачту, а корабль нырял, словно лебедь, между высоченными валами и вновь возносился на гребень громоздящейся волны.

Русалочке все это казалось приятной прогулкой, но не матросам. Корабль стонал и трещал; вот подалась под ударами волн толстая обшивка бортов, волны захлестнули корабль, переломилась пополам, как тростинка, мачта, корабль лег набок, и вода хлынула в трюм. Тут уж русалочка поняла, какая опасность угрожает людям, - ей и самой приходилось увертываться от бревен и обломков, носившихся по волнам. На минуту стало темно, хоть глаз выколи, но вот блеснула молния, и русалочка опять увидела людей на корабле. Каждый спасался как мог. Она искала глазами принца и увидела, как он упал в воду, когда корабль развалился на части. Сперва она очень обрадовалась - ведь он попадет теперь к ней на дно, но тут же вспомнила, что люди не могут жить в воде и он приплывет во дворец ее отца только мертвый. Нет, нет, он не должен умереть! И она поплыла между бревнами и досками, совсем не думая о том, что они могут ее раздавить. Она то ныряла глубоко, то взлетала на волну и наконец доплыла до юного принца. Он почти уже совсем выбился из сил и плыть по бурному морю не мог. Руки и ноги отказывались ему служить, прекрасные глаза закрылись, и он умер бы, не явись ему на помощь русалочка. Она приподняла над водой его голову и предоставила волнам нести их обоих куда угодно...

К утру буря стихла. От корабля не осталось и щепки. Опять засверкало над водой солнце и как будто вернуло краски щекам принца, но глаза его все еще были закрыты.

Русалочка откинула со лба принца волосы, поцеловала его в высокий красивый лоб, и ей показалось, что он похож на мраморного мальчика, который стоит у нее в саду. Она поцеловала его еще раз и пожелала, чтобы он остался жив.

Наконец она увидела сушу, высокие синие горы, на вершинах которых, точно стаи лебедей, белели снега. У самого берега зеленели чудесные леса, а перед ними стояла не то церковь, не то монастырь, - она не могла сказать точно, знала только, что это было здание. В саду росли апельсиновые и лимонные деревья, а у самых ворот высокие пальмы. Море вдавалось здесь в берег небольшим заливом, тихим, но очень глубоким, с утесом, у которого море намыло мелкий белый песок. Сюда-то и приплыла русалочка с принцем и положила его на песок, так, чтобы голова его была повыше на солнце.

Тут в высоком белом здании зазвонили колокола, и в сад высыпала целая толпа молодых девушек. Русалочка отплыла подальше за высокие камни, торчавшие из воды, покрыла свои волосы и грудь морскою пеной, так что теперь никто не различил бы ее лица, и стала ждать, не придет ли кто на помощь бедному принцу.

Вскоре к утесу подошла молодая девушка и поначалу очень испугалась, но тут же собралась с духом и позвала других людей, и русалочка увидела, что принц ожил и улыбнулся всем, кто был возле него. А ей он не улыбнулся, он даже не знал, что она спасла ему жизнь. Грустно стало русалочке, и, когда принца уведи в большое здание, она печально нырнула в воду и уплыла домой.

Теперь она стала еще тише, еще задумчивее, чем прежде. Сестры спрашивали ее, что она видела в первый раз на поверхности моря, но она ничего им не рассказала.

Часто по утрам и вечерам приплывала она к тому месту, где оставила принца. Она видела, как созревали в саду плоды, как их потом собирали, видела, как стаял снег на высоких горах, но принца так больше и не видала и возвращалась домой каждый раз все печальнее. Единственной отрадой было для нее сидеть в своем садике, обвив руками красивую мраморную статую, похожую на принца, но за своими цветами она больше не ухаживала. Они одичали и разрослись по дорожкам, переплелись стеблями и листьями с ветвями деревьев, и в садике стало совсем темно.

Наконец она не выдержала и рассказала обо всем одной из сестер. За ней узнали и остальные сестры, но больше никто, разве что еще две-три русалки да их самые близкие подруги. Одна из них тоже знала о принце, видела празднество на корабле и даже знала, откуда принц родом и где его королевство.

- Поплыли вместе, сестрица! - сказали русалочке сестры и, обнявшись, поднялись на поверхность моря близ того места, где стоял дворец принца.

Дворец был из светло-желтого блестящего камня, с большими мраморными лестницами; одна из них спускалась прямо к морю. Великолепные позолоченные купола высились над крышей, а между колоннами, окружавшими здание, стояли мраморные статуи, совсем как живые люди. Сквозь высокие зеркальные окна виднелись роскошные покои; всюду висели дорогие шелковые занавеси, были разостланы ковры, а стены украшены большими картинами. Загляденье, да и только! Посреди самой большой залы журчал большой фонтан; струи воды били высоко-высоко под стеклянный купол потолка, через который воду и диковинные растения, росшие по краям бассейна, озаряло солнце.

Теперь русалочка знала, где живет принц, и стала приплывать ко дворцу почти каждый вечер или каждую ночь. Ни одна из сестер не осмеливалась подплывать к земле так близко, ну а она заплывала даже в узкий канал, который проходил как раз под мраморным балконом, бросавшим на воду длинную тень. Тут она останавливалась и подолгу смотрела на юного принца, а он-то думал, что гуляет при свете месяца один-одинешенек.

Много раз видела она, как он катался с музыкантами на своей нарядной лодке, украшенной развевающимися флагами. Русалочка выглядывала из зеленого

тростника, и если люди иногда замечали, как полощется по ветру ее длинная серебристо-белая вуаль, им казалось, что это плещет крыльями лебедь.

Много раз слышала она, как говорили о принце рыбаки, ловившие по ночам с факелом рыбу; они рассказывали о нем много хорошего, и русалочка радовалась, что спасла ему жизнь, когда его, полумертвого, носило по волнам; она вспоминала, как его голова покоилась на ее груди и как нежно поцеловала она его тогда. А он-то ничего не знал о ней, она ему и присниться не могла!

Все больше и больше начинала русалочка любить людей, все сильнее тянуло ее к ним; их земной мир казался ей куда больше, чем ее подводный; они могли ведь переплывать на своих кораблях море, взбираться на высокие горы выше облаков, а их страны с лесами и полями раскинулись так широко, что и глазом не охватишь! Очень хотелось русалочке побольше узнать о людях, о их жизни, но сестры не могли ответить на все ее вопросы, и она обращалась к бабушке: старуха хорошо знала "высший свет", как она справедливо называла землю, лежавшую над морем.

- Если люди не тонут, - спрашивала русалочка, - тогда они живут вечно, не умирают, как мы?

- Ну что ты! - отвечала старуха. - Они тоже умирают, их век даже короче нашего. Мы живем триста лет; только когда мы перестаем быть, нас не хоронят, у нас даже нет могил, мы просто превращаемся в морскую пену.

- Я бы отдала все свои сотни лет за один день человеческой жизни, - проговорила русалочка.

- Вздор! Нечего и думать об этом! - сказала старуха. - Нам тут живется куда лучше, чем людям на земле!

- Значит, и я умру, стану морской пеной, не буду больше слышать музыку волн, не увижу ни чудесных цветов, ни красного солнца! Неужели я никак не могу пожить среди людей?

- Можешь, - сказала бабушка, - пусть только кто-нибудь из людей полюбит тебя так, что ты станешь ему дороже отца и матери, пусть отдастся он тебе всем своим сердцем и всеми помыслами, сделает тебя своей женой и поклянется в вечной верности. Но этому не бывать никогда! Ведь то, что у нас считается красивым - твой рыбий хвост, например, - люди находят безобразным. Они ничего не смыслят в красоте; по их мнению, чтобы быть красивым, надо непременно иметь две неуклюжие подпорки, или ноги, как они их называют.

Русалочка глубоко вздохнула и печально посмотрела на свой рыбий хвост.

- Будем жить - не тужить! - сказала старуха. - Повеселимся вволю, триста лет - срок немалый. Сегодня вечером у нас во дворце бал!

Вот было великолепие, какого не увидишь на земле! Стены и потолок танцевальной залы были из толстого, но прозрачного стекла; вдоль стен рядами лежали сотни огромных пурпурных и травянисто-зеленых раковин с голубыми огоньками в середине; огни эти ярко освещали всю залу, а через стеклянные стены - и море вокруг. Видно было, как к стенам подплывают стаи больших и маленьких рыб, и чешуя их переливается золотом, серебром, пурпуром.

Посреди залы вода бежала широким потоком, и в нем танцевали под свое чудное пение водяные и русалки. Таких прекрасных голосов не бывает у людей. Русалочка пела лучше всех, и все хлопали ей в ладоши. На минуту ей было сделалось весело при мысли о том, что ни у кого и нигде, ни в море, ни на земле, нет такого чудесного голоса, как у нее; но потом она опять стала думать о надводном мире, о прекрасном принце, и ей стало грустно.

Незаметно выскользнула она из дворца и, пока там пели и веселились, печально сидела в своем садике. Вдруг сверху донеслись звуки валторн, и она подумала: "Вот он опять катается на лодке! Как я люблю его! Больше, чем отца и мать! Я

принадлежу ему всем сердцем, всеми своими помыслами, ему я бы охотно вручила счастье всей моей жизни! На все бы я пошла - только бы мне быть с ним. Пока сестры танцуют в отцовском дворце, поплыву-ка я к морской ведьме. Я всегда боялась ее, но, может быть, она что-нибудь посоветует или как-нибудь поможет мне!"

И русалочка поплыла из своего садика к бурным водоворотам, за которыми жила ведьма. Еще ни разу не доводилось ей проплывать этой дорогой; тут не росли ни цветы, ни даже трава - кругом был только голый серый песок; вода за ним бурлила и шумела, как под мельничным колесом, и увлекала за собой в пучину все, что только встречала на своем пути. Как раз между такими бурлящими водоворотами и пришлось плыть русалочке, чтобы попасть в тот край, где владычила ведьма. Дальше путь лежал через горячий пузырящийся ил, это место ведьма называла своим торфяным болотом. А там уж было рукой подать до ее жилья, окруженного диковинным лесом: вместо деревьев и кустов в нем росли полипы - полуживотные-полурастения, похожие на стоглавых змей, выроставших прямо из песка; ветви их были подобны длинным осклизлым рукам с пальцами, извивающимися, как черви; полипы ни на минуту не переставали шевелиться от корня до самой верхушки и хватали гибкими пальцами все, что только им попадалось, и уж больше не выпускали. Русалочка в испуге остановилась, сердечко ее забилось от страха, она готова была вернуться, но вспомнила о принце и собралась с духом: крепко обвязала вокруг головы свои длинные волосы, чтобы в них не вцепились полипы, скрестила на груди руки и, как рыба, поплыла между омерзительными полипами, которые тянулись к ней своими извивающимися руками. Она видела, как крепко, точно железными клещами, держали они своими пальцами все, что удалось им схватить: белые скелеты утонувших людей, корабельные рули, ящики, кости животных, даже одну русалочку. Полипы поймали и задушили ее. Это было страшнее всего!

Но вот она очутилась на скользкой лесной поляне, где кувыркались, показывая противное желтоватое брюхо, большие, жирные водяные ужи. Посреди поляны был выстроен дом из белых человеческих костей; тут же сидела сама морская ведьма и кормила изо рта жабу, как люди кормят сахаром маленьких канареек. Омерзительных ужей она звала своими цыплятками и позволяла им ползать по своей большой, ноздреватой, как губка, груди.

- Знаю, знаю, зачем ты пришла! - сказала русалочке морская ведьма. -

Глупости ты затеваешь, ну да я все-таки помогу тебе - на твою же беду, моя красавица! Ты хочешь отделаться от своего хвоста и получить вместо него две подпорки, чтобы ходить, как люди. Хочешь, чтобы юный принц полюбил тебя.

И ведьма захохотала так громко и гадко, что и жаба и ужи попадали с нее и шлепнулись на песок.

- Ну ладно, ты пришла в самое время! - продолжала ведьма. - Приди ты завтра поутру, было бы поздно, и я не могла бы помочь тебе раньше будущего года. Я изготовлю тебе питье, ты возьмешь его, поплывешь с ним к берегу еще до восхода солнца, сядешь там и выпьешь все до капли; тогда твой хвост раздвоится и превратится в пару стройных, как сказали бы люди, ножек. Но тебе будет так больно, как будто тебя пронзят острым мечом. Зато все, кто тебя увидит, скажут, что такой прелестной девушки они еще не встречали! Ты сохранишь свою плавную походку - ни одна танцовщица не сравнится с тобой; но помни: ты будешь ступать как по острым ножам, и твои ноги будут кровоточить. Вытерпишь все это? Тогда я помогу тебе.

- Да! - сказала русалочка дрожащим голосом, подумав о принце.

- Помни, - сказала ведьма, - раз ты примешь человеческий облик, тебе уж не сделаться вновь русалкой! Не видать тебе ни морского дна, ни отцовского дома, ни

сестер! А если принц не полюбит тебя так, что забудет ради тебя и отца и мать, не отдастся тебе всем сердцем и не сделает тебя своей женой, ты погибнешь; с первой же зарей после его женитьбы на другой твое сердце разорвется на части и ты станешь пеной морской.

- Пусть! - сказала русалочка и побледнела как смерть.

- А еще ты должна заплатить мне за помощь, - сказала ведьма. - И я недешево возьму! У тебя чудный голос, им ты и думаешь обворожить принца, но ты должна отдать этот голос мне. Я возьму за свой бесценный напиток самое лучшее, что есть у тебя: ведь я должна примешать к напитку свою собственную кровь, чтобы он стал остер, как лезвие меча.

- Если ты возьмешь мой голос, что же останется мне? - спросила русалочка.

- Твое прелестное лицо, твоя плавная походка и твои говорящие глаза - этого довольно, чтобы покорить человеческое сердце! Ну полно, не бойся: высунешь язычок, и я отрежу его в уплату за волшебный напиток!

- Хорошо! - сказала русалочка, и ведьма поставила на огонь котел, чтобы сварить питье.

- Чистота - лучшая красота! - сказала она и обтерла котел связкой живых ужей.

Потом она расцарапала себе грудь; в котел закапала черная кровь, и скоро стали подниматься клубы пара, принимавшие такие причудливые формы, что просто страх брал. Ведьма поминутно подбавляла в котел новых и новых снадобий, и когда питье закипело, оно забулькало так, будто плакал крокодил. Наконец напиток был готов, на вид он казался прозрачайшей ключевой водой.

- Бери! - сказала ведьма, отдавая русалочке напиток.

Потом отрезала ей язык, и русалочка стала немая - не могла больше ни петь, ни говорить.

- Схватят тебя полипы, когда поплывешь назад, - напутствовала ведьма, - брызни на них каплю питья, и их руки и пальцы разлетятся на тысячу кусочков.

Но русалочке не пришлось этого делать - полипы с ужасом отворачивались при одном виде напитка, сверкавшего в ее руках, как яркая звезда. Быстро проплыла она лес, миновала болото и бурлящие водовороты.

Вот и отцовский дворец; огни в танцевальной зале потушены, все спят. Русалочка не посмела больше войти туда - ведь она была немая и собиралась покинуть отцовский дом навсегда. Сердце ее готово было разорваться от тоски. Она проскользнула в сад, взяла по цветку с грядки у каждой сестры, послала родным тысячи воздушных поцелуев и поднялась на темно-голубую поверхность моря.

Солнце еще не вставало, когда она увидела перед собой дворец принца и присела на широкую мраморную лестницу. Месяц озарял ее своим чудесным голубым сиянием. Русалочка выпила обжигающий напиток, и ей показалось, будто ее пронзили обоюдоострым мечом; она потеряла сознание и упала замертво. Когда она очнулась, над морем уже сияло солнце: во всем теле она чувствовала жгучую боль. Перед ней стоял прекрасный принц и с удивлением рассматривал ее. Она потупилась и увидела, что рыбий хвост исчез, а вместо него у нее появились две маленькие беленькие ножки. Но она была совсем нагая и потому закуталась в свои длинные, густые волосы. Принц спросил, кто она и как сюда попала, но она только кротко и грустно смотрела на него своими темносиними глазами: говорить ведь она не могла. Тогда он взял ее за руку и повел во дворец. Правду сказала ведьма: каждый шаг причинял русалочке такую боль, будто она ступала по острым ножам и иголкам; но она терпеливо переносила боль и шла об руку с принцем легко, точно по воздуху.

Принц и его свита только дивились ее чудной, плавной походке. Русалочку нарядили в шелк и муслин, и она стала первой красавицей при дворе, но оставалась по-прежнему немой, не могла ни петь, ни говорить. Как-то раз к принцу и его

царственным родителям позвали девушек-рабынь, разодетых в шелк и золото. Они стали петь, одна из них пела особенно хорошо, и принц хлопал в ладоши и улыбался ей. Грустно стало русалочке: когда-то и она могла петь, и несравненно лучше! "Ах, если бы он знал, что я навсегда рассталась со своим голосом, только чтобы быть возле него!"

Потом девушки стали танцевать под звуки чудеснейшей музыки, тут и русалочка подняла свои белые прекрасные руки, встала на цыпочки и понеслась в легком, воздушном танце; так не танцевал еще никто! Каждое движение подчеркивало ее красоту, а глаза ее говорили сердцу больше, чем пение рабынь.

Все были в восхищении, особенно принц; он назвал русалочку своим маленьким найденышем, а русалочка все танцевала и танцевала, хотя каждый раз, как ноги ее касались земли, ей было так больно, будто она ступала по острым ножам. Принц сказал, что она всегда должна быть возле него, и ей было позволено спать на бархатной подушке перед дверями его комнаты.

Он велел сшить ей мужской костюм, чтобы она могла сопровождать его на прогулках верхом. Они ездили по благоухающим лесам, где в свежей листве пели птицы, а зеленые ветви касались ее плеч. Они взбирались на высокие горы, и хотя из ее ног сочилась кровь и все видели это, она смеялась и продолжала следовать за принцем на самые вершины; там они любовались на облака, плывшие у их ног, точно стаи птиц, улетающих в чужие страны.

А ночью во дворце у принца, когда все спали, русалочка спускалась по мраморной лестнице, ставила пылающие, как в огне, ноги в холодную воду и думала о родном доме и о дне морском.

Раз ночью всплыли из воды рука об руку ее сестры и запели печальную песню; она кивнула им, они узнали ее и рассказали ей, как огорчила она их всех. С тех пор они навещали ее каждую ночь, а один раз она увидела вдали даже свою старую бабушку, которая уже много лет не подымалась из воды, и самого царя морского с короной на голове; они простирали к ней руки, но не смели подплыть к земле так близко, как сестры.

День ото дня принц привязывался к русалочке все сильнее и сильнее, но он любил ее только как милое, доброе дитя, сделать же ее своей женой и принцессой ему и в голову не приходило, а между тем ей надо было стать его женой, иначе, если бы он отдал свое сердце и руку другой, она стала бы пеной морской.

"Любишь ли ты меня больше всех на свете?" - казалось, спрашивали глаза русалочки, когда принц обнимал ее и целовал в лоб.

- Да, я люблю тебя! - говорил принц. - У тебя доброе сердце, ты предана мне больше всех и похожа на молодую девушку, которую я видел однажды и, верно, больше уж не увижу! Я плыл на корабле, корабль затонул, волны выбросили меня на берег вблизи какого-то храма, где служат богу молодые девушки; самая младшая из них нашла меня на берегу и спасла мне жизнь; я видел ее всего два раза, но только ее одну в целом мире мог бы я полюбить!

Ты похожа на нее и почти вытеснила из моего сердца ее образ. Она принадлежит святому храму, и вот моя счастливая звезда послала мне тебя; никогда я не расстанусь с тобой!

"Увы! Он не знает, что это я спасла ему жизнь! - думала русалочка. - Я вынесла его из волн морских на берег и положила в роще, возле храма, а сама спряталась в морской пене и смотрела, не придет ли кто-нибудь к нему на помощь. Я видела эту красивую девушку, которую он любит больше, чем меня! - И русалочка глубоко вздыхала, плакать она не могла. - Но та девушка принадлежит храму, никогда не вернется в мир, и они никогда не встретятся! Я же нахожусь возле него, вижу его каждый день, могу ухаживать за ним, любить его, отдать за него жизнь!"

Но вот стали поговаривать, что принц женится на прелестной дочери соседнего короля и потому снаряжает свой великолепный корабль в плавание.

Принц поедет к соседнему королю как будто для того, чтобы ознакомиться с его страной, а на самом-то деле, чтобы увидеть принцессу; с ним едет большая свита. Русалочка на все эти речи только покачивала головой и смеялась - она ведь лучше всех знала мысли принца.

- Я должен ехать! - говорил он ей. - Мне надо посмотреть прекрасную принцессу; этого требуют мои родители, но они не станут принуждать меня жениться на ней, а я никогда не полюблю ее! Она ведь не похожа на ту красавицу, на которую похожа ты. Если уж мне придется наконец избрать себе невесту, так я лучше выберу тебя, мой немой найденыш с говорящими глазами!

И он целовал ее в розовые губы, играл ее длинными волосами и клал свою голову на ее грудь, где билось сердце, жаждавшее человеческого счастья и любви.

- Ты ведь не боишься моря, моя немая крошка? - говорил он, когда они уже стояли на корабле, который должен был отвезти их в страну соседнего короля.

И принц стал рассказывать ей о бурях и о штиле, о диких рыбах, что живут в пучине, и о том, что видели там ныряльщики, а она только улыбалась, слушая его рассказы, - она-то лучше всех знала, что есть на дне морском.

В ясную лунную ночь, когда все, кроме рулевого, спали, она села у самого борта и стала смотреть в прозрачные волны, и ей показалось, что она видит отцовский дворец; старая бабушка в серебряной короне стояла на вышке и смотрела сквозь волнующиеся струи воды на киль корабля. Затем на поверхность моря всплыли ее сестры: они печально смотрели на нее и протягивали к ней свои белые руки, а она кивнула им головой, улыбнулась и хотела рассказать о том, как ей хорошо здесь, но тут к ней подошел корабельный юнга, и сестры нырнули в воду, а юнга подумал, что это мелькнула в волнах белая морская пена.

Наутро корабль вошел в гавань нарядной столицы соседнего королевства. В городе зазвонили в колокола, с высоких башен раздались звуки рогов; на площадях стояли полки солдат с блестящими штыками и развевающимися знаменами. Начались празднества, балы следовали за балами, но принцессы еще не было - она воспитывалась где-то далеко в монастыре, куда ее отдали учиться всем королевским добродетелям. Наконец прибыла и она. Русалочка жадно смотрела на нее и не могла не признать, что лица милее и прекраснее она еще не видала. Кожа на лице принцессы была такая нежная, прозрачная, а из-за длинных темных ресниц улыбались синие кроткие глаза.

- Это ты! - сказал принц. - Ты спасла мне жизнь, когда я полумертвый лежал на берегу моря!

И он крепко прижал к сердцу свою зардевшуюся невесту.

- Ах, я так счастлив! - сказал он русалочке. - То, о чем я не смел и мечтать, сбылось! Ты порадуешься моему счастью, ты ведь так любишь меня.

Русалочка поцеловала ему руку, а сердце ее, казалось, вотвот разорвется от боли: его свадьба должна ведь убить ее, превратить в пену морскую.

В тот же вечер принц с молодой женой должны были отплыть на родину принца; пушки палили, флаги развевались, на палубе был раскинут шатер из золота и пурпура, устланный мягкими подушками; в шатре они должны были провести эту тихую, прохладную ночь.

Паруса надулись от ветра, корабль легко и плавно заскользил по волнам и понесся в открытое море.

Как только смерклось, на корабле зажглись разноцветные фонарики, а матросы стали весело плясать на палубе. Русалочка вспомнила, как она впервые поднялась на поверхность моря и увидела такое же веселье на корабле. И вот она понеслась в

быстром воздушном танце, точно ласточка, преследуемая коршуном. Все были в восторге: никогда еще не танцевала она так чудесно! Ее нежные ножки резало как ножами, но этой боли она не чувствовала - сердцу ее было еще больнее. Она знала, что один лишь вечер осталось ей пробыть с тем, ради кого она оставила родных и отцовский дом, отдала свой чудный голос и терпела невыносимые мучения, о которых принц и не догадывался. Лишь одну ночь оставалось ей дышать одним воздухом с ним, видеть синее море и звездное небо, а там наступит для нее вечная ночь, без мыслей, без сновидений. Далеко за полночь продолжались на корабле танцы и музыка, и русалочка смеялась и танцевала со смертельной мукой на сердце; принц же целовал красавицу жену, а она играла его черными кудрями; наконец рука об руку они удалились в свой великолепный шатер.

На корабле все стихло, только рулевой остался у руля. Русалочка оперлась о поручни и, повернувшись лицом к востоку, стала ждать первого луча солнца, который, она знала, должен был убить ее. И вдруг она увидела, как из моря поднялись ее сестры; они были бледны, как и она, но их длинные роскошные волосы не развевались больше по ветру - они были обрезаны.

- Мы отдали наши волосы ведьме, чтобы она помогла нам избавить тебя от смерти! А она дала нам вот этот нож - видишь, какой он острый? Прежде чем взойдет солнце, ты должна вонзить его в сердце принца, и когда теплая кровь его брызнет тебе на ноги, они опять срастутся в рыбий хвост и ты опять станешь русалкой, спустишься к нам в море и проживешь свои триста лет, прежде чем превратишься в соленую пену морскую. Но спеши! Или он, или ты - один из вас должен умереть до восхода солнца. Убей принца и вернись к нам! Поспешите. Видишь, на небе показалась красная полоска? Скоро взойдет солнце, и ты умрешь!

С этими словами они глубоко вздохнули и погрузились в море.

Русалочка приподняла пурпуровую занавесь шатра и увидела, что головка молодой жены покоится на груди принца. Русалочка наклонилась и поцеловала его в прекрасный лоб, посмотрела на небо, где разгоралась утренняя заря, потом посмотрела на острый нож и опять устремила взор на принца, который во сне произнес имя своей жены - она одна была у него в мыслях! - и нож дрогнул в руках у русалочки. Еще минута - и она бросила его в волны, и они покраснели, как будто в том месте, где он упал, из моря выступили капли крови.

В последний раз взглянула она на принца полуугасшим взором, бросилась с корабля в море и почувствовала, как тело ее расплывается пеной.

Над морем поднялось солнце; лучи его любовно согревали мертвенно-холодную морскую пену, и русалочка не чувствовала смерти; она видела ясное солнце и какие-то прозрачные, чудные создания, сотнями реявшие над ней. Она видела сквозь них белые паруса корабля и красные облака в небе; голос их звучал как музыка, но такая возвышенная, что человеческое ухо не расслышало бы ее, так же как человеческие глаза не видели их самих. У них не было крыльев, но они носились в воздухе, легкие и прозрачные. Русалочка заметила, что и она стала такой же, оторвавшись от морской пены.

- К кому я иду? - спросила она, поднимаясь в воздухе, и ее голос звучал такую же дивною музыкой.

- К дочерям воздуха! - ответили ей воздушные создания. Мы летаем повсюду и всем стараемся приносить радость. В жарких странах, где люди гибнут от знойного, зачумленного воздуха, мы навеваем прохладу. Мы распространяем в воздухе благоухание цветов и несем людям исцеление и отраду... Летим с нами в заоблачный мир! Там ты обретешь любовь и счастье, каких не нашла на земле.

И русалочка протянула свои прозрачные руки к солнцу и в первый раз почувствовала у себя на глазах слезы.

На корабле за это время все опять пришло в движение, и русалочка увидела, как принц с молодой женой ищут ее. Печально смотрели они на волнующую морскую пену, точно знали, что русалочка бросилась в волны. Невидимая, поцеловала русалочка красавицу в лоб, улыбнулась принцу и вознеслась вместе с другими детьми воздуха к розовым облакам, плававшим в небе.

Снежная королева

(Пер. А. Ганзен)

История первая,

в которой говорится о зеркале и его осколках

Ну, начнем! Когда мы доберемся до конца нашей истории, будем знать больше, чем теперь.

Так вот, жил-был тролль, злой-презлой — это был сам дьявол. Как-то раз у него было прекрасное настроение: он смастерил зеркало, обладавшее удивительным свойством. Все доброе и прекрасное, отражаясь в нем, почти исчезало, но все ничтожное и отвратительное особенно бросалось в глаза и становилось еще безобразнее. Чудесные пейзажи казались в этом зеркале вареным шпинатом, а лучшие из людей — уродами; чудилось, будто они стоят вверх ногами, без животов, а лица их так искажались, что их нельзя было узнать.

Если у кого-нибудь на лице была одна-единственная веснушка, этот человек мог быть уверен, что в зеркале она расплывется во весь нос или рот.

Дьявола все это ужасно забавляло. Когда человеку в голову приходила добрая благочестивая мысль, зеркало тотчас строило рожу, а тролль хохотал, радуясь своей забавной выдумке. Все ученики тролля — а у него была своя школа — рассказывали, что свершилось чудо.

—Только теперь, — говорили они, — можно видеть мир и людей такими, какие они на самом деле.

Они повсюду носились с зеркалом, и в конце концов не осталось ни одной страны и ни одного человека, которые бы не отразились в нем в искаженном виде. И вот они захотели добраться до неба, чтобы посмеяться над ангелами и над господом богом. Чем выше поднимались они, тем больше гримасничало и кривлялось зеркало; им трудно было удержать его: они летели все выше и выше, все ближе к богу и ангелам; но вдруг зеркало так перекошилось и задрожало, что вырвалось у них из рук и полетело на землю, там оно разбилось вдребезги. Миллионы, миллиарды, несметное множество осколков наделали гораздо больше вреда, чем само зеркало. Некоторые из них, величиной с песчинку, разлетелись по белу свету и, случалось, попадали людям в глаза; они оставались там, а люди с той поры видели все шиворот-навыворот или замечали во всем только дурные стороны: дело в том, что каждый крошечный осколок обладал той же силой, что и зеркало.

Некоторым людям осколки попали прямо в сердце, — это было ужаснее всего — сердце превращалось в кусок льда. Попадались и такие большие осколки, что их можно было вставить в оконную раму, но сквозь эти окна не стоило смотреть на своих друзей. Иные осколки были вставлены в очки, но стоило людям надеть их, чтобы хорошенько все рассмотреть и вынести справедливое суждение, как приключалась беда. А злой тролль хохотал до коллик в животе, словно его щекотали. И много осколков зеркала все еще летало по свету.

Послушаем же, что было дальше!

История вторая

Мальчик и девочка

В большом городе, где столько людей и домов, что не всем удается разбить маленький садик и где поэтому очень многим приходится довольствоваться комнатными цветами, жили двое бедных детей, у которых садик был чуть побольше цветочного горшка. Они не были братом и сестрой, но любили друг друга, словно родные. Родители их жили по соседству, под самой крышей — в мансардах двух смежных домов. Кровли домов почти соприкасались, а под выступами проходил водосточный желоб, — вот как раз туда и выходили окошки обеих комнатушек. Стоило только перешагнуть желобок, и можно было сразу попасть через окошко к соседям.

У родителей под окнами было по большому деревянному ящику; в них они разводили зелень и корни, а еще в каждом ящике росло по небольшому кусту роз, кусты эти чудесно разрастались. Вот и додумались родители поставить ящики поперек желобка; они тянулись от одного окна к другому, словно две цветочные грядки. Усики гороха свисали с ящиков зелеными гирляндами; на розовых кустах появлялись все новые побеги: они обрамляли окна и переплетались — все это было похоже на триумфальную арку из листьев и цветов.

Ящики были очень высоки, и дети хорошо знали, что залезать на них нельзя, поэтому родители часто позволяли им ходить друг к другу в гости по желобу и сидеть на скамеечке под розами. Как весело они там играли!

Но зимой дети были лишены этого удовольствия. Окна часто совсем замерзали, но малыши нагревали на печке медные монетки и прикладывали их к замерзшим стеклам, — лед быстро оттаивал, и получалось чудесное окошко, такое круглое, круглое — в нем показывался веселый, ласковый глазок, это мальчик и девочка смотрели из своих окон. Его звали Кай, а ее — Гер да. Летом они могли одним прыжком очутиться друг у друга, а зимой приходилось сначала спуститься на много ступенек вниз, а потом подняться на столько же ступенек вверх! А на дворе бушевала метель.

— Это роятся белые пчелки, — сказала старая бабушка.

— А у них есть королева? — спросил мальчик, потому что он знал, что у настоящих пчел она есть.

— Есть, — ответила бабушка. — Королева летает там, где снежный рой всего гуще; она больше всех снежинок и никогда не лежит подолгу на земле, а снова улетает с черной тучей. Иногда в полночь она летает по улицам города и заглядывает в окна, — тогда они покрываются чудесными ледяными узорами, словно цветами.

— Мы видели, видели, — сказали дети и поверили, что все это сушая правда.

— А может Снежная королева придти к нам? — спросила девочка.

— Пусть только попробует! — сказал мальчик. — Я посажу ее на раскаленную печку, и она растает.

Но бабушка погладила его по голове и завела разговор о другом.

Вечером, когда Кай вернулся домой и уже почти разделся, собираясь лечь в постель, он забрался на скамеечку у окна и заглянул в круглое отверстие в том месте, где оттаял лед. За окном порхали снежинки; одна из них, самая большая, опустилась на край цветочного ящика. Снежинка росла, росла, пока, наконец, не превратилась в высокую женщину, закутанную в тончайшее белое покрывало; казалось, оно было соткано из миллионов снежных звездочек.

Женщина эта, такая прекрасная и величественная, была вся из льда, из ослепительного, сверкающего льда, — и все же живая; глаза ее сияли, как две ясные звезды, но в них не было ни тепла, ни покоя. Она склонилась к окну, кивнула

мальчику и поманила его рукой. Мальчик испугался и спрыгнул со скамеечки, а мимо окна промелькнуло что-то, похожее на огромную птицу.

На другой день был славный мороз, но потом началась оттепель, а там пришла весна. Светило солнце, проглядывала первая зелень, ласточки вили гнезда под крышей, окна были распахнуты настежь, и дети снова сидели в своем крошечном садике у водосточного желоба высоко над землей.

Розы в то лето цвели особенно пышно; девочка выучила псалом, в котором говорилось о розах, и, напевая его, она думала о своих розах. Этот псалом она спела мальчику, и он стал ей подпевать:

Розы в долинах цветут . . . Красота!

Скоро узрим мы младенца Христа.

Взявшись за руки, дети пели, целовали розы, смотрели на ясные солнечные блики и разговаривали с ними, — в этом сиянии им чудился сам младенец Христос. Как прекрасны были эти летние дни, как хорошо было сидеть рядом под кустами благоухающих роз, — казалось, они никогда не перестанут цвести.

Кай и Герда сидели и рассматривали книжку с картинками, — разных зверей и птиц. И вдруг—как раз на башенных часах пробило пять — Кай вскрикнул:

— Меня кольнуло прямо в сердце! А теперь что-то попало в глаз! Девочка обвила ручонками его шею. Кай мигал глазами; нет, ничего не было видно.

— Наверное, выскочило, — сказал он; но в том-то и дело, что не выскочило. Это был как раз крошечный осколок дьявольского зеркала; ведь мы, конечно, помним об этом ужасном стекле, отражаясь в котором все великое и доброе казалось ничтожным и гадким, а злое и дурное выступало еще резче, и каждый недостаток сразу бросался в глаза. Крошечный осколок попал Каю прямо в сердце. Теперь оно должно было превратиться в кусок льда. Боль прошла, но осколок остался.

— Что ты хнычешь? — спросил Кай. — Какая ты сейчас некрасивая! Ведь мне совсем не больно! . . . Фу! — закричал он вдруг. — Эту розу точит червь! Посмотри, а та совсем кривая! Какие гадкие розы! Ничуть не лучше ящиков, в которых они торчат!

И вдруг он толкнул ногой ящик и сорвал обе розы.

— Кай! Что ты делаешь? — закричала девочка.

Увидев, как она испугалась, Кай сломал еще одну ветку и убежал от милой маленькой Герды в свое окно.

Приносила ли ему после того девочка книжку с картинками, он говорил, что эти картинки хороши только для младенцев; всякий раз, когда бабушка что-нибудь рассказывала, он перебивал ее и придирался к словам; а иногда на него такое находило, что он передразнивал ее походку, надевал очки и подражал ее голосу. Получалось очень похоже, и люди покатывались со смеху.

Вскоре мальчик научился передразнивать всех соседей. Он так ловко выставлял на показ все их странности и недостатки, что люди только диву давались:

— Что за голова у этого мальчугана!

А причиной всему был осколок зеркала, что попал ему в глаз, а потом и в сердце. Потому-то он передразнивал даже маленькую Герду, которая любила его всей душой.

И играл теперь Кай совсем по-другому — чересчур замысловато. Как-то раз зимой, когда шел снег, он пришел с большим увеличительным стеклом и подставил под падающий снег полу своего синего пальто.

— Посмотри в стекло, Гер да! — сказал он. Каждая снежинка увеличилась под стеклом во много раз и походила на роскошный цветок или на десятиконечную звезду. Это было очень красиво.

—Посмотри, как искусно сделано! — сказал Кай. — Это куда интереснее, чем настоящие цветы. И какая точность! Ни одной кривой линии. Ах, если бы только они не таяли!

Немного погодя Кай пришел в больших рукавицах, с санками за спиной и крикнул Герде в самое ухо:

—Мне позволили покататься на большой площади с другими мальчиками! — и убежал.

На площади каталось много детей. Самые храбрые мальчишки привязывали свои салазки к крестьянским саням и отъезжали довольно далеко. Веселье так и кипело. В самый его разгар на площади появились большие белые сани; в них сидел человек, укутанный в пушистую, белую меховую шубу, на голове у него была такая же шапка. Сани два раза объехали площадь, Кай живо привязал к ним свои маленькие салазки и покатил. Большие сани понеслись быстрее и вскоре свернули с площади в переулок. Тот, кто сидел в них, обернулся и приветливо кивнул Каю, словно они были давно знакомы. Каждый раз, когда Кай хотел отвязать санки, седок в белой шубе кивал ему, и мальчик ехал дальше. Вот они выехали за городские ворота. Снег вдруг повалил густыми хлопьями, так что мальчик ничего не видел на шаг впереди себя, а сани все мчались и мчались.

Мальчик попытался скинуть веревку, которую он зацепил за большие сани. Это не помогло: салазки его словно приросли к саням и все так же неслись вихрем. Кай громко закричал, но никто его не услышал. Метель бушевала, а сани все мчались, ныряя в сугробах; казалось, что они перескакивают через изгороди и канавы. Кай дрожал от страха, он хотел прочесть “Отче наш”, но в уме у него вертелась только таблица умножения.

Снежные хлопья все росли и росли, наконец, они превратились в больших белых кур. Вдруг куры разлетелись во все стороны, большие сани остановились, и человек, сидевший в них, встал. Это была высокая, стройная, ослепительно белая женщина — Снежная королева; и шуба, и шапка на ней были из снега.

—Славно проехались! — сказала она. — Ух, какой мороз! Ну-ка, залезай ко мне под медвежью шубу!

Она посадила мальчика рядом с собой на большие сани и закутала его в свою шубу; Кай словно провалился в снежный сугроб.

—Тебе все еще холодно? — спросила она и поцеловала его в лоб. У! Поцелуй ее был холоднее льда, он пронизал его насквозь и дошел до самого сердца, а оно и так уже было наполовину ледяным. На мгновение Каю показалось, что он вот-вот умрет, а потом ему стало хорошо, и он уже не чувствовал холода.

—Мои санки! Не забудь про мои санки! — спохватился мальчик. Салазки привязали на спину одной из белых куриц, и она полетела с ними вслед за большими санями. Снежная королева поцеловала Каю еще раз, и он забыл и маленькую Герду, и бабушку, всех-всех, кто остался дома.

—Больше я не буду целовать тебя, — сказала она. — А не то зацелую до смерти!

Кай взглянул на нее, она была так хороша! Он и представить себе не мог более умного, более прелестного лица. Теперь она не казалась ему ледяной, как в тот раз, когда сидела за окном и кивала ему. В его глазах она была совершенством. Кай уже не чувствовал страха и рассказал ей, что умеет считать в уме и даже знает дроби, а еще знает, сколько в каждой стране квадратных миль и жителей ... А Снежная королева только улыбалась. И Каю показалось, что он, и в самом деле, знает так мало, и он устремил взор в бесконечное воздушное пространство. Снежная королева подхватила мальчика и взвилась с ним на черную тучу.

Буря плакала и стонала, словно распевала старинные песни. Кай и Снежная королева летели над лесами и озерами, над морями и сушей. Под ними проносились

со свистом холодные ветры, выли волки, сверкал снег, а над головами с криком кружили черные вороны; но высоко вверху светил большой ясный месяц. Кай смотрел на него всю долгую-долгую зимнюю ночь, — днем он спал у ног Снежной королевы.

История третья

Цветник женщины, умевшей колдовать

А что же было с маленькой Гердой после того, как Кай не вернулся? Куда он исчез? Никто этого не знал, никто не мог ничего рассказать о нем. Мальчишки говорили только, что видели, как он привязал свои салазки к большим великолепным саням, которые потом свернули на другую улицу и умчались за городские ворота. Никто не знал, куда он девался. Много слез было пролито: горько и долго плакала маленькая Герда. Наконец, все решили, что Кая больше нет в живых: может быть, он утонул в реке, которая протекала неподалеку от города. Ох, как тянулись эти мрачные зимние дни! Но вот пришла весна, засияло солнце.

—Кай умер, он больше не вернется, — сказала маленькая Герда.

—Я этому не верю! — возразил солнечный свет.

—Он умер, и больше не вернется! — сказала она ласточкам.

—Не верим! — ответили они, и, наконец, сама Герда перестала этому верить.

—Надену-ка я свои новые красные башмачки, — сказала она как-то утром. —

Кай еще ни разу не видел их. А потом спусть к реке и спрошу о нем. Было еще очень рано. Девочка поцеловала спящую бабушку, надела красные башмачки, одна-одинешенька вышла за ворота и спустилась к реке:

—Правда, что ты взяла моего маленького дружка? Я подарю тебе свои красные башмачки, если ты мне его вернешь.

И девочке почудилось, будто волны как-то странно кивают ей; тогда она сняла свои красные башмачки — самое дорогое, что у нее было — бросила их в реку; но она не могла забросить их далеко, и волны тут же вынесли башмачки обратно на берег — видно, река не захотела взять ее сокровище, раз у нее не было маленького Кая. Но Герда подумала, что слишком близко бросила башмачки, вот она и вскочила в лодку, лежавшую на песчаной отмели, подошла к самому краю кормы и бросила башмачки в воду. Лодка не была привязана и от резкого толчка соскользнула в воду. Герда заметила это и решила поскорее выбраться на берег, но пока она пробиралась обратно на нос, лодка отплыла на сажень от берега и понеслась по течению. Герда очень испугалась и заплакала, но никто, кроме воробьев, не слышал ее; а воробьи не могли перенести ее на сушу, но они летели вдоль берега и щебетали, словно хотели утешить ее:

—Мы тут! Мы тут!

Поток уносил лодку все дальше, Герда сидела совсем тихо в одних чулках — красные башмачки плыли за лодкой, но они не могли ее догнать: лодка плыла гораздо быстрее.

Берега реки были очень красивы: повсюду росли вековые деревья, пестрели чудесные цветы, на склонах паслись овцы и коровы, но нигде не было видно людей.

“Может быть, река несет меня прямо к Каю?” — подумала Герда. Она повеселела, встала на ноги и долго-долго любовалась живописными зелеными берегами; лодка подплыла к большому вишневному саду, в котором приютился маленький домик с чудесными красными и синими окнами и с соломенной крышей. Перед домиком стояли два деревянных солдата и отдавали ружьями честь всем, кто проплывал мимо. Герда подумала, что они живые, и окликнула их, но солдаты, конечно, не ответили ей; лодка подплыла еще ближе, — она почти вплотную подошла к берегу.

Девочка закричала еще громче, и тогда из домика, опираясь на клюку, вышла дряхлая-предряхлая старушка в широкополой соломенной шляпе, расписанной чудесными цветами.

—Ах ты, бедняжка! — сказала, старушка. — Как это ты попала на такую большую, быструю реку, да еще заплыла так далеко?

Тут старушка вошла в воду, подцепила своей клюкой лодку, подтянула ее к берегу и высадила Герду.

Девочка была рада-радешенька, что наконец выбралась на берег, хоть и немного побаивалась незнакомой старухи.

—Ну, пойдём; расскажи мне, кто ты и как сюда попала, — сказала старушка.

Герда стала рассказывать обо всем, что с ней приключилось, а старушка качала головой и говорила: “Гм! Гм!” Но вот Герда кончила и спросила ее, не видела ли она маленького Кая. Старушка ответила, что здесь он еще не проходил, но, наверное, скоро придет сюда, так что девочке нечего горевать — пусть отведаёт ее вишен да посмотрит на цветы, что растут в саду; цветы эти красивее любых книжек с картинками, и каждый цветок рассказывает свою сказку. Тут старушка взяла Герду за руку, увела ее к себе в домик и заперла дверь на ключ.

Окна в домике были высоко от полу и все из разных стекол: красных, синих и желтых, — поэтому и вся комната была освещена каким-то удивительным радужным светом. На столе стояли чудесные вишни, и старушка позволила Герде есть, сколько душе угодно. А пока девочка ела, старушка расчесывала ей волосы золотым гребешком, они блестели, словно золотые, и так чудесно вились вокруг ее нежного личика, кругленького и румяного, словно роза.

—Давно мне хотелось иметь такую миленькую девочку! — сказала старушка. — Вот увидишь, как славно мы с тобой заживем!

И чем дольше расчесывала она Герде волосы, тем быстрее Герда забывала своего названного братца Кая: ведь эта старушка умела колдовать. Но она не была злой волшебницей и колдовала только изредка, для своего удовольствия; а сейчас ей очень хотелось, чтобы маленькая Герда осталась у нее. И вот она пошла в сад, помахала своей клюкой над каждым розовым кустом, и те, как стояли в цвету, так все и ушли глубоко в землю — и следа от них не осталось. Старушка боялась, что Герда, увидев розы, вспомнит свои собственные, а там и Кая, и убежит.

Сделав свое дело, старушка повела Герду в цветник. Ах, как там было красиво, как благоухали цветы! Все цветы, какие только есть на свете, всех времен года пышно цвели в этом саду; никакая книжка с картинками не могла быть пестрей и прекраснее этого цветника. Герда прыгала от радости и играла среди цветов, пока солнце не скрылось за высокими вишневыми деревьями. Потом ее уложили в чудесную постельку с красными шелковыми перинками, а перинки те были набиты голубыми фиалками; девочка уснула, и ей снились такие чудесные сны, какие видит разве только королева в день своей свадьбы.

На другой день Герде опять позволили играть на солнышке в чудесном цветнике. Так прошло много дней. Герда знала теперь каждый цветок, но хоть их и было так много, ей все же казалось, что какого-то цветка недостает; только вот какого? Как-то раз она сидела и рассматривала соломенную шляпу старушки, расписанную цветами, и среди них прекраснее всех была роза.

Старушка забыла стереть ее со шляпы, когда заколдовала живые розы и спрятала их под землю. Вот до чего доводит рассеянность!

—Как! Тут нет роз? — воскликнула Герда и побежала искать их на клумбах.

Искала, искала, да так и не нашла.

Тогда девочка опустилась на землю и заплакала. Но ее горячие слезы упали как раз на то место, где был спрятан розовый куст, и как только они смочили землю, он

мгновенно появился на клумбе такой же цветущий, как прежде. Герда обвила его ручонками и стала целовать розы; тут она вспомнила о тех чудных розах, что цвели дома, а потом и о Кае.

—Как же я замешкалась! — сказала девочка. — Ведь мне нужно искать Кая! Вы не знаете, где он? — спросила она у роз. — Вы верите, что его нет в живых?

—Нет, он не умер! — ответили розы. — Мы же побывали под землей, где лежат все умершие, но Кая меж ними нет.

—Спасибо вам! — сказала Герда и пошла к другим цветам. Она заглядывала в их чашечки и спрашивала:

—Не знаете ли вы, где Кай?

Но каждый цветок грелся на солнышке и грезил только своей собственной сказкой или историей; много их выслушала Герда, но никто из цветов ни слова не сказал о Кае.

Что же рассказала ей огненная лилия?

—Слышишь, как бьет барабан? “Бум!”, “Бум!”. Звуки очень однообразные, всего лишь два тона: “Бум!”, “Бум!”. Слушай заунывное пение женщин! Слушай крики жрецов ... В длинном алом одеянии стоит на костре вдова индийца.

Языки пламени охватывают ее и тело умершего мужа, но женщина думает о живом человеке, что стоит тут же, — о том, чьи глаза горят ярче пламени, чьи взоры обжигают сердце горячее огня, который вот-вот испепелит ее тело.

Может ли пламя сердца погаснуть в пламени костра!

—Ничего не понимаю! — сказала Герда.

—Это моя сказка, — объяснила огненная лилия. Что рассказал вьюнок?

—Старинный рыцарский замок возвышается над скалами. К нему ведет узкая горная тропинка. Старые красные стены увиты густым плющом, листья его цепляются друг за друга, плющ обвивает балкон; на балконе стоит прелестная девушка. Она перегнулась через перила и смотрит вниз на тропинку: ни одна роза не может сравниться с ней в свежести; и цветок яблони, сорванный порывом ветра, не трепещет так, как она. Как шелестит ее дивное шелковое платье! “Неужели он не придет?”

—Ты говоришь про Кая? — спросила Герда.

—Я рассказываю о своих грезах! Это моя сказка, — ответил вьюнок. Что рассказал крошка-подснежник?

—Между деревьями на толстых веревках висит длинная доска — это качели. На них стоят две маленькие девочки; платица на них белые, как снег, а на шляпах длинные зеленые шелковые ленты, они развеваются по ветру. Братишка, постарше их, стоит на качелях, обвив веревку рукой, чтобы не упасть; в одной руке у него чашечка с водой, а в другой трубочка, — он пускает мыльные пузыри; качели качаются, пузыри летают по воздуху и переливаются всеми цветами радуги. Последний пузырь еще висит на конце трубочки и раскачивается на ветру. Черная собачка, легкая, как мыльный пузырь, встает на задние лапы и хочет вспрыгнуть на качели: но качели взлетают вверх, собачонка падает, сердится и твякает: дети дразнят ее, пузыри лопаются ...

Качающаяся доска, разлетающаяся по воздуху мыльная пена — вот моя песенка!

—Что ж, она очень мила, но ты рассказываешь все это таким печальным голосом! И опять ни слова о Кае! Что рассказали гиацинты?

—Жили на свете три сестры, стройные, воздушные красавицы. На одной платье было красное, на другой голубое, на третьей — совсем белое. Взявшись за руки, танцевали они у тихого озера при ясном лунном свете. То были не эльфы, а настоящие живые девушки. В воздухе разлился сладкий аромат, а девушки исчезли в лесу. Но вот запахло еще сильнее, еще слаще — три гроба выплыли из лесной чащи

на озеро. В них лежали девушки; светлячки кружили в воздухе, словно крошечные трепещущие огоньки. Спят юные плясуньи или умерли? Аромат цветов говорит, что умерли. Вечерний колокол звонит по усопшим!

—Вы совсем меня расстроили, — сказала Герда. — Вы тоже так сильно пахнете.

Теперь у меня из головы не идут умершие девушки! Неужели Кай тоже умер! Но розы побывали под землей, и они говорят, что его там нет.

—Динь-дон! — зазвенели колокольчики гиацинтов. — Мы звонили не над Каем. Мы и не знаем его. Мы поем свою собственную песенку.

Герда подошла к лютику, сидевшему среди блестящих зеленых листьев.

—Маленькое ясное солнышко! — сказала Герда. — Скажи, не знаешь ли ты, где мне искать моего маленького дружка?

Лютик засиял еще ярче и взглянул на Герду. Какую же песенку спел лютик? Но и в этой песенке ни слова не было о Кае!

—Был первый весенний день, солнышко приветливо светило на маленький дворик и пригревало землю. Лучи его скользили по белой стене соседнего дома.

Возле самой стены распустились первые желтые цветочки, словно золотые сверкали они на солнце; старая бабушка сидела во дворе на своем стуле; вот вернулась из гостей домой ее внучка, бедная прелестная служанка. Она поцеловала бабушку; поцелуй ее — чистое золото, он идет прямо от сердца.

Золото на устах, золото в сердце, золото на небе в утренний час. Вот она, моя маленькая история! — сказал лютик.

—Бедная моя бабушка! — вздохнула Герда. — Она, конечно, тоскует и страдает из-за меня; как она горевала о Кае! Но я скоро вернусь домой вместе с Каем. Незачем больше расспрашивать цветы, они ничего не знают, кроме своих собственных песен, — все равно они мне ничего не посоветуют.

И она подвязала свое платьице повыше, чтобы удобнее было бежать. Но когда Герда хотела перепрыгнуть через нарцисс, он хлестнул ее по ноге. Девочка остановилась, посмотрела на длинный желтый цветок и спросила:

—Может, ты что-нибудь знаешь?

И она склонилась над нарциссом, ожидая ответа.

Что же сказал нарцисс?

—Я вижу себя! Я вижу себя! О, как я благоухаю! Высоко под самой крышей в маленькой каморке стоит полуодетая танцовщица. Она то стоит на одной ножке, то на обеих, она попирает весь свет, — ведь она лишь обман зрения.

Вот она льет воду из чайника на кусок материи, который держит в руках. Это ее корсаж. Чистота — лучшая красота! Белое платье висит на гвозде, вбитом в стену; оно тоже выстирано водою из чайника и высушено на крыше. Вот девушка одевается и повязывает на шею ярко-желтый платочек, а он еще резче оттеняет белизну платья. Опять одна ножка в воздухе! Смотри, как прямо она держится на другой, точно цветок на своем стебельке! Я вижу в ней себя! Я вижу в ней себя!

—Какое мне до всего этого дело! — сказала Герда. — Нечего мне об этом рассказывать!

И она побежала в конец сада. Калитка была заперта, но Герда так долго расшатывала заржавевший засов, что он поддался, калитка распахнулась, и вот девочка босиком побежала по дороге. Раза три она оглядывалась, но никто не гнался за ней. Наконец, она устала, присела на большой камень и огляделась по сторонам: лето уже прошло, наступила поздняя осень. У старушки в волшебном саду этого не было заметно, — ведь там все время сияло солнце и цвели цветы всех времен года.

—Господи! Как я замешкалась! — сказала Герда. — Ведь уже осень! Нет, мне нельзя отдыхать!

Она встала и пошла дальше.

Ах, как ныли ее усталые ножки! Как неприветливо и холодно было вокруг! Длинные листья на ивах совсем пожелтели, роса стекала с них крупными каплями. Листья падали на землю один за другим. Только на терновнике еще остались ягоды, но они были такие вяжущие, терпкие.

Ах, до чего серым и унылым казался весь мир!

Четвертая история

Принц и Принцесса

Герде пришлось опять присесть и отдохнуть. На снегу прямо перед ней прыгал большой ворон; долго-долго смотрел он на девочку, кивая головой, и, наконец, сказал:

— Карр-карр! Добррый день!

Лучше ворон не умел говорить, но от всей души желал девочке добра и спросил ее, куда это она бредет по белу свету одна-одинешенька. Слово “одна” Герда хорошо поняла, она почувствовала, что это значит. Вот она и рассказала ворону о своей жизни и спросила, не видел ли он Кая.

Ворон в раздумье покачал головой и прокаркал:

— Очень вероятно! Очень вероятно!

— Как? Правда? — воскликнула девочка; она осыпала ворона поцелуями и так крепко обняла его, что чуть не задушила.

— Будь благоразумна, будь благоразумна! — сказал ворон. — Я думаю, что это был Кай! Но он, верно, совсем забыл тебя из-за своей принцессы!

— Разве он живет у принцессы? — спросила Герда.

— Да вот, послушай! — сказал ворон. — Только мне ужасно трудно говорить на человеческом языке. Вот если бы ты понимала по-вороньи, я бы тебе куда лучше все рассказал!

— Нет, этому я не научилась, — вздохнула Герда. — Но бабушка, та понимала, она даже знала “тайный” язык¹. Вот и мне бы научиться!

— Ну, ничего, — сказал ворон. — Расскажу, как сумею, пусть хоть плохо. И он рассказал обо всем, что знал.

— В королевстве, где мы с тобой находимся, живет принцесса — такая умница, что и сказать нельзя! Она прочла все газеты, какие только есть на свете, и тут же позабыла, что в них написано, — вот какая умница! Как-то недавно сидела она на троне — а люди говорят, что это скука смертная! — и вдруг начала напевать вот эту песенку: “Что бы мне бы не выйти замуж! Что бы мне бы не выйти замуж!”. “А почему бы и нет!” — подумала она, и ей захотелось выйти замуж. Но в мужья она хотела взять такого человека, который сумел бы ответить, если с ним заговорят, а не такого, который только и знает, что важничать, — ведь это так скучно. Она приказала барабанщикам ударить в барабаны и созвать всех придворных дам; а когда придворные дамы собрались и узнали о намерениях принцессы, они очень обрадовались.

— Вот и хорошо! — говорили они. — Мы сами совсем недавно об этом думали.

— Верь, все, что я тебе говорю, истинная правда! — сказал ворон. У меня при дворе есть невеста, она ручная, и ей можно разгуливать по замку. Вот она-то мне обо всем и рассказала.

Невеста его была тоже ворона: ведь каждый ищет себе жену под стать.

¹ Тарабарщина, распространенная среди детей: к обычным слогам прибавляются определенные буквы или слоги, начинающиеся с одной и той же буквы.

—На другой день все газеты вышли с каймой из сердечек и с вензелями принцессы. В них было объявлено, что каждый молодой человек приятной наружности может беспрепятственно явиться во дворец и побеседовать с принцессой; того, кто будет говорить непринужденно, словно дома, и окажется всех красноречивей, принцесса возьмет себе в мужья.

—Да, да! — повторил ворон. — Все это так же верно, как то, что здесь сижу.

Народ повалил во дворец толпами — какая там была толкотня, давка! Но ни в первый, ни во второй день никому не улыбнулось счастье. Все женихи бойко разговаривали, пока были на улице, но стоило им перешагнуть дворцовый порог, увидеть гвардию в расшитых серебром мундирах, а на лестнице лакеев в золотых ливреях, залитые светом залы, как их брала оторопь. А как встанут они перед тронем, на котором сидит принцесса, так ни звука из себя выдавить не могут, только повторяют последние принцессыны слова. А ей вовсе неинтересно было слушать все это снова. Можно было подумать, что всех их дурманом опоили! Но стоило им снова очутиться на улице, как языки у них развязывались. Длинный-предлинный хвост женихов тянулся от городских ворот до самого дворца. Я сам там был и все видел. Женихи хотели пить и едва держались на ногах от голода, а во дворце им даже стакана теплой воды не поднесли. Правда, те, что поумнее, захватили с собой хлеба с маслом, но, конечно, никто и не подумал поделиться со своими соседями. “Нет, уж пусть лучше у него будет голодный вид, тогда принцесса его не выберет”, — рассуждали они.

—Ну, а Кай-то, Кай? — спросила Герда. — Когда же он появился? И он приходил свататься?

—Постой, постой! Теперь мы как раз и до него добрались! На третий день пришел маленький человек — ни в карете, ни верхом, а просто пешком и храбро зашагал прямо во дворец; глаза его сияли, как твои, у него были красивые длинные волосы, но одет был совсем бедно.

—Это Кай! — обрадовалась Герда. — Наконец-то я нашла его! От радости она захлопала в ладоши.

—За спиной у него была котомка, — сказал ворон.

—Нет, это были салазки! — возразила Герда. — Он ушел из дома с санками.

—А может, и санки, — согласился ворон. Я не разглядел хорошенько. Но моя невеста, ручная ворона, рассказала мне, что когда он вошел во дворец и увидел гвардию в расшитых серебром мундирах, а на лестнице лакеев в золотых ливреях, он ни капельки не смутился, а только приветливо кивнул им и сказал: “Должно быть, скучно стоять на лестнице! Пойду-ка я лучше в комнаты!” Залы были залиты светом; тайные советники и их превосходительства ходили без сапог и разносили золотые блюда, — ведь надо же держаться с достоинством!

А сапоги мальчика ужасно скрипели, но это его ничуть не смущало.

—Это, наверное, был Кай! — сказал Герда. — Я помню, у него были новые сапоги, я слышала, как они скрипели у бабушки в комнате!

—Да, скрипели они порядком, — продолжал ворон. — Но мальчик смело подошел к принцессе, которая сидела на жемчужине величиной с колесо прялки. Вокруг стояли все придворные дамы со своими служанками и со служанками своих служанок и все кавалеры со своими камердинерами, слугами своих камердинеров и прислужниками камердинерских слуг; и чем ближе к двери стояли они, тем надменнее держались. На прислужника камердинерских слуг, который всегда носит туфли, нельзя было взглянуть без трепета, до того важно стоял он у порога!

—Ах, наверное, было очень страшно! — сказала Герда. — Ну, так что же, женился Кай на принцессе?

— Не будь я вороном, я бы сам на ней женился, хоть я и помолвлен! Он стал беседовать с принцессой и говорил так же хорошо, как я, когда говорю по-вороньи. Так сказала моя милая невеста, ручная ворона. Мальчик был очень храбрый и в то же время милый; он заявил, что пришел во дворец не свататься, — просто ему захотелось побеседовать с умной принцессой; ну, так вот, она понравилась ему, а он ей.

— Да, конечно, это Кай! — сказала Герда. — Он ведь ужасно умный! Он умел считать в уме, да еще знал дроби! Ах, пожалуйста, проводи меня во дворец!

— Легко сказать! — ответил ворон, — Да как это сделать? Я поговорю об этом с моей милой невестой, ручной вороной; может, она что-нибудь посоветует; должен тебе сказать, что такую маленькую девочку, как ты, ни за что не пустят во дворец!

— Меня пустят! — сказала Герда. — Как только Кай услышит, что я здесь, он сейчас же придет за мной.

— Подожди меня у решетки! — каркнул ворон, покачал головой и улетел. Он вернулся только поздно вечером.

— Карр! Карр! — закричал он. — Моя невеста шлет тебе наилучшие пожелания и кусочек хлеба. Она стащила его в кухне — там хлеба много, а ты, наверное, проголодалась. Тебе не попасть во дворец, — ведь ты босая. Гвардия в серебряных мундирах и лакеи в золотых ливреях ни за что не пропустят тебя.

Но не плачь, ты все-таки туда попадешь! Моя невеста знает маленькую заднюю лестницу, которая ведет прямо в спальню, и она сумеет раздобыть ключ.

Они вошли в сад, пошли по длинной аллее, где с деревьев один за другим падали осенние листья. А когда в окнах погасли огни, ворон подвел Герду к задней двери, которая была чуть приоткрыта.

О, как билось сердце девочки от страха и нетерпения! Точно она собиралась сделать что-то дурное, — а ведь ей только хотелось убедиться, Кай ли это!

Да, да, конечно он здесь! Она так живо представляла себе его умные глаза и длинные волосы. Девочка ясно видела, как он улыбается ей, словно в те дни, когда они сидели рядом под розами. Он, конечно, обрадуется, как только увидит ее и узнает, в какой длинный путь отправилась она из-за него и как горевали о нем все родные и близкие. Она была сама не своя от страха и радости!

Но вот они и на площадке лестницы. На шкафу горела маленькая лампа. На полу посреди лестничной площадки стояла ручная ворона, она вертела головой во все стороны и разглядывала Герду. Девочка присела и поклонилась вороне, как ее учила бабушка.

— Мой жених рассказывал мне о вас столько хорошего, милая барышня, — сказала ручная ворона. — Ваша “vita”¹, как принято говорить, тоже очень трогательна. Не угодно ли Вам взять лампу, а я пойду впереди. Мы пойдем напрямик, тут мы не встретим ни души.

— Мне кажется, что кто-то идет за нами, — сказала Герда, и в это мгновение какие-то тени с легким шумом промчались мимо нее: кони на стройных ногах, с развевающимися гривами, охотники, дамы и кавалеры верхом на лошадях.

— Это сны! — сказала ворона. — Они пришли, чтобы унести мысли высоких особ на охоту. Тем лучше для нас, по крайней мере никто не помешает вам повнимательнее рассмотреть спящих. Но я надеюсь, что вы, заняв высокое положение при дворе, покажете себя с самой лучшей стороны и не забудете нас!

— Есть о чем говорить! Это сам собой разумеется, — сказал лесной ворон. Тут они вошли в первый зал. Стены его были обиты атласом, а на том атласе были вытканы

¹ Жизнь (лат.)

дивные цветы; и тут мимо девочки опять пронеслись сны, но они летели так быстро, что Герда не смогла рассмотреть благородных всадников.

Один зал был великолепнее другого; Герду эта роскошь совсем ослепила. Наконец, они вошли в спальню; потолок ее напоминал огромную пальму с листьями из драгоценного хрусталя; со середины пола к потолку поднимался толстый золотой ствол, а на нем висели две кровати в виде лилий; одна была белая — в ней лежала принцесса, а другая красная — в ней Герда надеялась найти Кая. Она отвела в сторону один из красных лепестков и увидела русый затылок. О, это Кай! Она громко его окликнула и поднесла лампу к самому его лицу, — сны с шумом умчались прочь; принц проснулся и повернул голову . . . Ах, это был не Кай!

Принц походил на Кая только с затылка, но он тоже был молодой и красивый.

Из белой лилии выглянула принцесса и спросила, что случилось. Герда расплакалась и рассказала обо всем, что с ней приключилось, упомянула она и о том, что сделали для нее ворон и его невеста.

—Ах ты, бедняжка! — пожалели девочку принц и принцесса; они похвалили ворон и сказали, что вовсе не сердятся на них, — но только впредь пусть этого не делают! А за этот поступок они даже решили их наградить.

—Хотите быть вольными птицами? — спросила принцесса. — Или желаете занять должность придворных ворон на полном содержании из кухонных остатков?

Ворон с вороной поклонились и попросили позволения остаться при дворе. Они подумали о старости и сказали:

—Хорошо иметь верный кусок хлеба на старости лет!

Принц встал и уступил свою постель Герде, пока он больше ничего не мог для нее сделать. А девочка сложила ручки и подумала: “До чего же добры люди и животные!” Потом она закрыла глаза и сладко заснула. Сны опять прилетели, но теперь они были похожи на божьих ангелов и везли маленькие санки, на которых сидел Кай и кивал. Увы, это был только сон, и стоило девочке проснуться, как все исчезло.

На другой день Герду с ног до головы нарядили в шелк и бархат; ей предложили остаться во дворце и пожить в свое удовольствие; но Герда попросила только лошадь с повозкой и сапожки, — она хотела тут же отправиться на поиски Кая.

Ей дали и сапожки, и муфту, и нарядное платье, а когда она простилась со всеми, к дворцовым воротам подъехала новая карета из чистого золота: герб принца и принцессы сиял на ней, словно звезда. Кучер, слуги и фореиторы — да, там были даже фореиторы — сидели на своих местах, а на головах у них красовались маленькие золотые короны. Принц и принцесса сами усадили Герду в карету и пожелали ей счастья. Лесной ворон — теперь он уже был женат — провожал девочку первые три мили; он сидел рядом с ней, потому что не переносил езды “задом-наперед”. Ручная ворона сидела на воротах и хлопала крыльями; она не поехала вместе с ними: с тех пор, как ей пожаловали должность при дворе, она страдала головными болями от обжорства. Карета была набита сахарными крендельками, а ящик под сиденьем — фруктами и пряниками.

—Прощай, прощай! — закричали принц и принцесса. Герда заплакала, и ворона тоже. Так они проехали три мили, потом ворон тоже простился с ней. Тяжело им было расставаться. Ворон взлетел на дерево и махал черными крыльями, пока карета, сверкавшая, как солнце, не скрылась из виду.

История пятая

Маленькая разбойница

Они ехали по темному лесу, карета горела, словно пламя, свет резал разбойникам глаза: этого они не потерпели.

—Золото! Золото! — закричали они, выскочили на дорогу, схватили лошадей под уздцы, убили маленьких фореиторов, кучера и слуг и вытащили из кареты Герду.

—Ишь, какая толстенная! Орешками откормлена! — сказала старая разбойница с длинной жесткой бородой и мохнатыми нависшими бровями.

—Словно откормленный барашек! Посмотрим, какова она на вкус? И она вытащила свой острый нож; он так сверкал, что на него было страшно взглянуть.

—Ай! — закричала вдруг разбойница: это ее укусила за ухо собственная дочка, сидевшая у нее за спиной. Она была такая своенравная и озорная, что любо посмотреть.

—Ах ты, дрянная девчонка! — закричала мать, но убить Герду она не успела.

—Пусть она со мной играет! — сказала маленькая разбойница. — Пусть отдаст мне свою муфту и свое хорошенькое платьице, а спать она будет со мной в моей постельке!

Тут она снова укусила разбойницу, да так, что та подпрыгнула от боли и завертелась на одном месте.

Разбойники хохотали и говорили:

—Ишь, как она пляшет со своей девчонкой!

—Я хочу в карету! — сказала маленькая разбойница и настояла на своем, — такая уж она была избалованная и упрямая.

Маленькая разбойница и Герда сели в карету и понеслись по корягам и камням, прямо в чащу леса. Маленькая разбойница была ростом с Герду, но сильнее, шире ее в плечах и гораздо смуглее; волосы у нее были темные, а глаза совсем черные и грустные. Она обняла Герду и сказала:

—Они не посмеют тебя убить, пока я сама не рассержусь на тебя. Ты, наверное, принцесса?

—Нет, — ответила Герда и рассказала ей обо всем, что ей пришлось пережить, и о том, как она любит Кая.

Маленькая разбойница серьезно поглядела на нее и сказала:

—Они не посмеют тебя убить, даже если я на тебя рассержусь, — скорей уж я сама тебя убью!

Она вытерла Герде слезы и засунула руки в ее красивую, мягкую и теплую муфточку.

Вот карета остановилась; они въехали во двор разбойничьего замка. Замок потрескался сверху донизу; из трещин вылетали вороны и вороны. Огромные бульдоги, такие свирепые, точно им не терпелось проглотить человека, прыгали по двору; но лаять они не лаяли — это было запрещено.

Посреди огромного, старого, почерневшего от дыма зала прямо на каменном полу пылал огонь. Дым поднимался к потолку и сам должен был искать себе выход; в большом котле варилась похлебка, а на вертелах жарились зайцы и кролики.

—Эту ночь ты будешь спать со мной, рядом с моими зверюшками, — сказала маленькая разбойница.

Девочек накормили и напоили, и они ушли в свой угол, где лежала солома, покрытая коврами. Над этим ложем на жердочках и шестах сидело около сотни голубей: казалось, что все они спали, но когда девочки подошли, голуби слегка зашевелились.

—Это все мои! — сказала маленькая разбойница. Она схватила того, что сидел поближе, взяла его за лапку и так тряхнула, что он забил крыльями.

—На, поцелуй его! — крикнула она, ткнув голубя прямо в лицо Герде. — А там сидят лесные пройдохи! — продолжала она, — Это дикие голуби, витютни, вон те два!

— и показала на деревянную решетку, закрывавшую углубление в стене. — Их нужно держать взаперти, не то улетят. А вот и мой любимец, старина-олень! — И девочка потянула за рога северного оленя в блестящем медном ошейнике; он был привязан к стене. — Его тоже нужно держать на привязи, не то мигом удерет. Каждый вечер я щекочу его шею своим острым ножом. Ух, как он его боится!

И маленькая разбойница вытащила из расщелины в стене длинный нож и провела им по шее оленя; бедное животное стало брыкаться, а маленькая разбойница захохотала и потащила Герду к постели.

—А ты что, спишь с ножом? — спросила Герда и испуганно покосилась на острый нож.

—Я всегда сплю с ножом! — ответила маленькая разбойница. — Мало ли что может случиться? А теперь расскажи еще раз о Кае и о том, как ты странствовала по белу свету.

Герда рассказала все с самого начала. Лесные голуби тихо ворковали за решеткой, а остальные уже спали. Маленькая разбойница обняла одной рукой Герду за шею, — в другой у нее был нож — и захрапела; но Герда не могла сомкнуть глаз: девочка не знала, убьют ее или оставят в живых. Разбойники сидели вокруг огня, пили вино и распевали песни, а старуха-разбойница кувыркалась. Девочка с ужасом смотрела на них.

Вдруг заворковали дикие голуби:

—Курр! Курр! Мы видели Кая! Белая курица несла на спине его салазки, а сам он сидел рядом со Снежной королевой в ее санях; они мчались над лесом, когда мы еще лежали в гнезде; она дохнула на нас, и все птенцы, кроме меня и брата, умерли. Курр! Курр!

—Что вы говорите? — воскликнула Герда. — Куда умчалась Снежная королева? Знаете вы еще что-нибудь?

—Видно, она улетела в Лапландию, — ведь там вечный снег и лед. Спроси у северного оленя, что стоит тут на привязи.

—Да, там лед и снег! Да, там чудесно! — сказал олень.—Там хорошо! Скачи себе на воле по необъятным сверкающим снежным равнинам! Там Снежная королева раскинула свой летний шатер, а постоянные ее чертоги у Северного полюса на острове Шпицберген!

—О Кай, мой милый Кай! — вздохнула Герда.

—Лежи смирно! — проворчала маленькая разбойница. — Не то пырну тебя ножом!

Утром Герда пересказала ей все, что говорили лесные голуби. Маленькая разбойница серьезно посмотрела на нее и сказала:

—Ладно, ладно... А ты знаешь, где Лапландия? — спросила она у северного оленя.

—Кому же это знать, как не мне! — ответил олень, и глаза у него заблестели. — Там я родился и вырос, там я скакал по снежным равнинам!

—Слушай! — сказала Герде маленькая разбойница. — Видишь, все наши ушли, только мать осталась дома; но она немного погодя хлебнет из большой бутылки и вздремнет, — тогда я кое-что сделаю для тебя.

Тут она прыгнула с постели, обняла мать, дернула ее за бороду и сказала:

—Здравствуй, мой милый козлик!

А мать ущипнула ее за нос, так что он покраснел и посинел, — это они, любя, ласкали друг друга.

Потом, когда мать хлебнула из своей бутылки и задремала, маленькая разбойница подошла к оленю и сказала:

—Я бы еще не раз пощекотала тебя этим острым ножом! Ты ведь так смешно дрожишь. Ну, да ладно! Я отвяжу тебя и выпущу на волю! Можешь убираться в свою

Лапландию. Только беги, что есть силы, и отнеси эту девочку во дворец Снежной королевы к ее милому дружку. Ты ведь слышал, что она рассказывала?

Говорила она довольно громко, а ты вечно подслушиваешь!

Северный олень подпрыгнул от радости. Маленькая разбойница посадила на него Герду, крепко привязала ее на всякий случай и даже подсунула под нее мягкую подушечку, чтобы ей удобно было сидеть.

— Так и быть, — сказала она, — бери свои меховые сапожки, ведь тебе будет холодно, а муфту я не отдам, уж очень она мне нравится! Но я не хочу, чтобы ты зябла. Вот тебе рукавицы моей матери. Они огромные, как раз до самых локтей. Сунь в них руки! Ну вот, теперь руки у тебя, как у моей уродины-мамаши!

Герда да плакала от радости.

— Терпеть не могу, когда ревут, — сказала маленькая разбойница. — Ты теперь радоваться должна! Вот тебе две буханки хлеба и окорок; чтобы ты не голодала.

Маленькая разбойница привязала все это оленю на спину, открыла ворота, заманила собак в дом, перерезала веревку своим острым ножом и сказала оленю:

— Ну, беги! Да смотри, береги девочку!

Герда протянула маленькой разбойнице обе руки в огромных рукавицах и попрощалась с нею. Олень пустился во всю прыть через пни и кусты, по лесам, по болотам, по степям. Выли волки, каркали вороны. “Трах! Трах!” — послышалось вдруг сверху. Казалось, что весь небосвод охватило алое зарево.

— Вот оно, мое родное северное сияние! — сказал олень. — Посмотри, как горит!

И он побежал еще быстрее, не останавливаясь ни днем, ни ночью. Прошло много времени. Хлеб был съеден, ветчина тоже. И вот они в Лапландии.

История шестая

Лапландка и финка

Они остановились у жалкой лачужки; крыша почти касалась земли, а дверь была ужасно низенькая: чтобы войти в избушку или выйти из нее, людям приходилось проползать на четвереньках. Дома была только старая лапландка, жарившая рыбу при свете коптилки, в которой горела ворвань. Северный олень рассказал лапландке историю Герды, но сначала он поведал свою собственную, — она казалась ему гораздо важнее. А Герда так продрогла, что и говорить не могла.

— Ах вы, бедняжки! — сказала лапландка. — Вам еще предстоит долгий путь; нужно пробежать сто с лишним миль, тогда вы доберетесь до Финмарка; там дача Снежной королевы, каждый вечер она зажигает голубые бенгальские огни.

Я напишу несколько слов на сушеной треске — бумаги у меня нет — а вы снесите ее одной финке, что живет в тех местах. Она лучше меня научит вас, что надо делать.

Когда Герда согрелась, наелась и напилась, лапландка написала несколько слов на сушеной треске, наказала Герде хорошенько ее беречь, привязала девочку к спине оленя, и тот снова помчался во весь дух. “Трах! Трах!” — потрескивало что-то сверху, а небо всю ночь озаряло чудесное голубое пламя северного сияния.

Так добрались они до Финмарка и постучали в дымовую трубу лачуги финки — у нее и дверей-то не было.

В лачуге было так жарко, что финка ходила полунагая; это была маленькая, угрюмая женщина. Она живо раздела Герду, стащила с нее меховые сапожки и рукавицы, чтобы девочке не было слишком жарко, а оленю положила на голову кусок льда и только потом принялась читать то, что было написано на сушеной треске. Три раза она прочла письмо и запомнила его наизусть, а треску бросила в котел с супом: ведь треску можно было съесть, — у финки ничего даром не пропадало.

Тут олень рассказал сначала свою историю, а потом историю Герды. Финка молча слушала его и только мигала своими умными глазами.

—Ты мудрая женщина, — сказал северный олень. — Я знаю, ты можешь связать одной ниткой все ветры на свете; развяжет моряк один узел — подует попутный ветер; развяжет другой — ветер станет крепче; развяжет третий и четвертый — разыграется такая буря, что деревья повалятся. Не могла бы ты дать девочке такого питья, чтобы она получила силу дюжины богатырей и одолела Снежную королеву?

—Силу дюжины богатырей? — повторила финка. — Да, это бы ей помогло! Финка подошла к какому-то ящичку, вынула из него большой кожаный свиток и развернула его; на нем были начертаны какие-то странные письма. Финка принялась разбирать их и разбирала так усердно, что у нее на лбу выступил пот.

Олень снова принялся просить за маленькую Герду, а девочка глядела на финку такими умоляющими, полными слез глазами, что та опять замигала и отвела оленя в угол. Положив ему на голову новый кусочек льда, она прошептала:

—Кай в самом деле у Снежной королевы. Он всем доволен и уверен, что это самое лучшее место на земле. А причиной всему осколки волшебного зеркала, что сидят у него в глазу и в сердце. Нужно их вынуть, иначе Кай никогда не будет настоящим человеком, и Снежная королева сохранит над ним свою власть!

—А не можешь ли дать что-нибудь Герде, чтобы она справилась с этой злой силой?

—Сильнее, чем она есть, я не могу ее сделать. Разве ты не видишь, как велика ее сила? Разве ты не видишь, как ей служат люди и животные? Ведь она босая обошла полсвета! Она не должна думать, что силу ей дали мы: сила эта в ее сердце, сила ее в том, что она милое, невинное дитя. Если она сама не сможет проникнуть в чертоги Снежной королевы и вынуть осколки из сердца и из глаза Кая, мы ей ничем не сможем помочь. В двух милях отсюда начинается сад Снежной королевы; ту да ты можешь отнести девочку. Ссадишь ее около куста с красными ягодами, что стоит в снегу. Не трать времени на разговоры, а мигом возвращайся обратно.

С этими словами финка посадила Герду на оленя и тот побежал со всех ног.

—Ах, я забыла мои сапожки и рукавицы! — закричала Герда: ее обожгло холодом. Но олень не посмел остановиться, пока не добежал до куста с красными ягодами. Там он спустил девочку, поцеловал ее в губы, по его щекам покатались крупные блестящие слезы. Затем он стрелой помчался назад.

Бедная Герда стояла без сапожек, без рукавиц посреди ужасной ледяной пустыни.

Она побежала вперед, что было силы; навстречу ей неслись целый полк снежных хлопьев, но они не падали с неба — небо было совсем ясное, освещенное северным сиянием. Нет, снежные хлопья неслись по земле, и чем ближе они подлетали, тем крупнее становились. Вспомнила тут Герда большие красивые снежинки, которые она видела под увеличительным стеклом, но эти были куда больше, страшнее, и все живые. Это были передовые отряды войска Снежной королевы. Вид у них был диковинный: одни напоминали больших безобразных ежей, другие — клубки змей, третьи — толстых медвежат со взъерошенной шерстью; но все они сверкали белизной, все были живыми снежными хлопьями.

Герда принялась читать “Отче наш”, а холод был такой, что ее дыхание тотчас превращалось в густой туман. Туман этот все сгущался и сгущался, и вдруг из него начали выделяться маленькие светлые ангелочки, которые, коснувшись земли, вырастали в больших грозных ангелов со шлемами на головах; все они были вооружены щитами и копьями. Ангелов становилось все больше и больше, а когда Герда дочитала молитву, ее окружал целый легион.

Ангелы пронзали копьями снежных чудовищ, и они рассыпались на сотни кусков. Герда смело пошла вперед, теперь у нее была надежная защита; ангелы гладили ей руки и ноги, и девочка почти не ощущала холода.

Она быстро приближалась к чертогам Снежной королевы.

Ну, а что же в это время делал Кай? Конечно, он не думал о Герде; где уж ему было догадаться, что она стоит перед самым дворцом.

История седьмая

Что произошло в чертогах снежной королевы и что случилось потом

Стены дворца намели снежные метели, а окна и двери проделали буйные ветры. Во дворце было больше ста залов; они были разбросаны как попало, по прихоти вьюг; самый большой зал простирался на много-много миль. Весь дворец освещался ярким северным сиянием. Как холодно, как пустынно было в этих ослепительно белых залах!

Веселье никогда не заглядывало сюда! Ни разу не устраивались здесь медвежьи балы под музыку бури, балы, на которых белые медведи расхаживали бы на задних лапах, показывая свою грацию и изящные манеры; ни разу не собралось здесь общество, чтобы поиграть в жмурки или фанты; даже беленькие кумушки-лисички, и те никогда не забегали сюда поболтать за чашкой кофе. Холодно и пустынно было в огромных чертогах Снежной королевы.

Северное сияние сияло так правильно, что можно было рассчитать, когда оно разгорится ярким пламенем и когда совсем ослабнет.

Посреди самого большого пустынного зала лежало замерзшее озеро. Лед на нем треснул и разбился на тысячи кусков; все куски были совершенно одинаковые и правильные, — настоящее произведение искусства! Когда Снежная королева бывала дома, она восседала посреди этого озера и говорила потом, что она сидит на зеркале разума: по ее мнению, это было единственное и неповторимое зеркало, самое лучшее на свете.

Кай посинел и почти почернел от холода, но не замечал этого, — ведь поцелуй Снежной королевы сделали его нечувствительным к стуже, а сердце его давно превратилось в кусок льда. Он возился с остроконечными плоскими льдинками, укладывая их на все лады, — Кай хотел что-то сложить из них.

Это напоминало игру, которая называется “китайской головоломкой”; состоит она в том, что из деревянных дощечек складываются различные фигуры. И Кай тоже складывал фигуры, одну затейливее другой. Эта игра называлась “ледяной головоломкой”. В его глазах эти фигуры были чудом искусства, а складывание их — занятием первостепенной важности. И все потому, что в глазу у него сидел осколок волшебного зеркала. Он складывал целые слова из льдин, но никак не мог составить того, что ему так хотелось, — слова “вечность”. А Снежная королева сказала ему: “Сложи это слово, — и ты будешь сам себе господин, а я подарю тебе весь мир и новые коньки”. Но он никак не мог его сложить.

—Теперь я полечу в теплые края! — сказала Снежная королева. — Загляну в черные котлы!

Котлами она называла кратеры огнедышащих гор, Везувия и Этны.

—Побелю их немного. Так надо. Это полезно для лимонов и винограда! Снежная королева улетела, а Кай остался один в пустом ледяном зале, тянувшемся на несколько миль. Он смотрел на льдины и все думал, думал, так что голова у него трещала. Окоченевший мальчик сидел неподвижно. Можно было подумать, что он замерз.

А тем временем Герда входила в огромные ворота, где разгуливали свирепые ветры. Но она прочла вечернюю молитву, и ветры утихли, словно заснули.

Герда вошла в необозримый пустынный ледяной зал, увидела Кая и тотчас узнала его. Девочка бросилась ему на шею, крепко обняла его и воскликнула:

—Кай, мой милый Кай! Наконец-то я тебя нашла!

Но Кай даже не пошевелинулся: он сидел все такой же невозмутимый и холодный. И тут Герда расплакалась: горячие слезы упали Каю на грудь и проникли в самое сердце; они растопили лед и расплавили осколок зеркала.

Кай взглянул на Герду, а она запела:

—*Розы в долинах цветут... Красота!*

Скоро мы узрим младенца Христа.

Кай вдруг залился слезами и плакал так сильно, что второй осколок выкатился из глаза. Он узнал Герду и радостно воскликнул:

—Герда! Милая Герда! Где ты пропадала? И где я сам был? — И он посмотрел по сторонам. — Как здесь холодно! Как пустынно в этих огромных залах!

Он крепко прижался к Герде, а она смеялась и плакала от радости. Да, радость ее была так велика, что даже льдины пустились в пляс, а когда устали, улеглись так, что из них составилось то самое слово, которое велела сложить Каю Снежная королева. За это слово она пообещала подарить ему свободу, весь свет и новые коньки.

Герда поцеловала Кая в обе щеки, и они опять порозовели; поцеловала в глаза — и они засияли, как у нее; поцеловала его руки и ноги — и он снова стал бодрым и здоровым. Пусть Снежная королева возвращается, когда ей вздумается, — ведь его отпускная, написанная блестящими ледяными буквами, лежала здесь.

Кай и Герда взялись за руки и вышли из дворца. Они говорили о бабушке и розах, что росли дома под самой крышей. И повсюду, где они шли, стихали буйные ветры, а солнышко выглядывало из-за туч. У куста с красными ягодами их поджидал северный олень, он привел с собой и молодую олениху, вымя ее было полно молока. Она напоила детей теплым молоком и поцеловала их в губы. Потом она с оленем отвезла Кая и Герду сначала к Финке. У нее они отогрелись и узнали дорогу домой, а потом отправились к лапландке; та сшила им новую одежду и починила салазки Кая.

Олень с оленихой бежали рядом и провожали их до самой границы Лапландии, где уже пробивалась первая зелень. Тут Кай и Герда расстались с оленями и с лапландкой.

—Прощайте! Прощайте! — говорили они друг другу.

Щебетали первые птички, деревья покрылись зелеными почками. Из лесу верхом на великолепном коне выехала молодая девушка в ярко-красной шапочке и с пистолетом в руках. Герда сразу узнала коня, когда-то он был впряжен в золотую карету. Это была маленькая разбойница; ей надоело сидеть дома и она захотела побывать на севере, а если там не понравится, — то и в других частях света.

Они с Гердой сразу узнали друг друга. Вот была радость!

—Ну и бродяга же ты! — сказала она Каю. — Хотела бы я знать, стоишь ли ты того, чтобы за тобой бегали на край света!

Но Герда погладила ее по щеке и спросила про принца и принцессу.

—Они уехали в чужие края, — ответила девушка-разбойница.

—А ворон? — спросила Герда.

—Ворон умер; ручная ворона овдовела, теперь она носит на ножке в знак траура черную шерстинку и жалуется на свою судьбу. Но все это пустяки!

Расскажи лучше, что было с тобой, и как ты его нашла?

Кай и Герда рассказали ей обо всем.

— Вот и сказке конец! — сказала разбойница, пожалала им руки, пообещала навестить их, если ей когда-нибудь доведется побывать в их городе. Затем она отправилась странствовать по свету. Кай и Герда, взявшись за руки, пошли своей дорогой. Повсюду их встречала весна: цвели цветы, зеленела трава.

Послышался колокольный звон, и они узнали высокие башни своего родного города. Кай и Герда вошли в город, в котором жила бабушка; потом они поднялись по лестнице и вошли в комнату, где все было по-старому: часы тикали: “тик-так”, а стрелки все так же двигались. Но проходя в дверь, они заметили, что выросли и стали взрослыми. Розы цвели на желобке и заглядывали в открытые окна.

Тут же стояли их детские скамеечки. Кай с Гердой уселись на них и взялись за руки. Холодное, пустынное великолепие чертогов Снежной королевы они забыли, как тяжелый сон. Бабушка сидела на солнышке и вслух читала Евангелие: “Если не будете, как дети, не войдете в Царствие Небесное!”

Кай и Герда взглянули друг на друга и тут только поняли смысл старого псалма:

Розы в долинах цветут... Красота!

Скоро узрим мы младенца Христа!

Так сидели они, оба уже взрослые, но дети сердцем и душою, а на дворе стояло теплое, благодатное лето.

Сон

(Пер. П. Ганзен, А. Ганзен)

Все яблони в саду покрылись бутонами - цветочкам хотелось опередить зеленые листья. По двору разгуливали утята, на солнышке потягивалась и нежилась кошка, облизывая свою собственную лапку. Хлеба в полях стояли превосходные, птички пели и щебетали без умолку, словно в день великого праздника. В сущности, оно так и было - день-то был воскресный. Слышался благовест, и люди, разодетые по-праздничному, с веселыми, довольными лицами шли в церковь. Да, право, и вся природа вокруг как будто сияла! Денек выдался такой теплый, благодатный, что так вот и хотелось воскликнуть: “Велика милость Божья к нам, людям!”

Но с церковной кафедры раздавались не такие речи; пастор громко и сурово доказывал слушателям, что все люди - безбожники, что Бог накажет их, ввергнет по смерти в геенну огненную, где огонь неугасающий и червь неумирающий! Вечно будут они мучиться там, без конца, без отдыха! Просто ужас брал, слушая его! Он говорил ведь так уверенно, так подробно описывал преисподнюю, эту смрадную яму, куда стекаются нечистоты со всего мира и где грешники задыхаются в серном, удушливом воздухе, погружаясь, среди вечного безмолвия, в бездонную трясину все глубже и глубже!.. Да, страшно было даже слушать, тем более что пастор говорил с такой искренней верой; все бывшие в церкви просто трепетали от ужаса.

А за церковными дверями так весело распевали птички, так славно сияло солнышко, и каждый цветочек как будто говорил: “Велика милость Божья к нам всем!”. Все это было так непохоже на то, о чем говорил пастор.

Вечером, перед тем как ложиться спать, пастор заметил, что жена его сидит в каком-то грустном раздумье.

- Что с тобой? - спросил он ее.

- Что со мной? - проговорила она. - Да вот, я все не могу хорошенько разобраться в своих мыслях. Не могу взять в толк того, что ты говорил сегодня утром... Неужели и в самом деле на свете так много безбожников, и все они, будут гореть в огне вечно?.. Подумать только, так долго - вечно! Нет, я только слабая, грешная душа, как и все, но если и у меня не хватило бы духа осудить на вечные муки даже самого

злейшего грешника, то как же может решиться на это Господь Бог? Он ведь бесконечно милосерден и знает, что грех бывает и вольный и невольный! Нет, что ты там ни говори, а я не пойму этого никогда!

Настала осень; вся листва с деревьев пооблетела; серьезный, суровый пастор сидел у постели умирающей. Благочестивая, верующая душа отходила в другой мир. Это была жена пастора.

- Если кого ждет за гробом вечный покой и милость Божья, так это тебя! - промолвил пастор, сложил умершей руки и прочел над ней молитву.

Ее схоронили; две крупные слезы скатились по щекам сурового пастора. В пасторском доме стало тихо, пусто - закатилось его ясное солнышко, умерла хозяйка.

Ночью над головою пастора пронеслась вдруг холодная струя ветра. Он открыл глаза. Комната была словно залита лунным светом, хотя ночь не была лунная. Свет этот шел от стоявшей у постели прозрачной фигуры. Пастор увидел перед собою тень своей покойной жены. Она устремила на него скорбный взгляд и как будто хотела сказать что-то.

Пастор слегка приподнялся, простер руки к призраку и сказал:

- Неужели и ты не обрела вечного покоя? И ты страдаешь? Ты, добродетельнейшая, благочестивейшая душа?!

Тень утвердительно кивнула головой и прижала руку к сердцу.

- И от меня зависит дать тебе это успокоение?

- Да! - донеслось до него.

- Но как?

- Дай мне волос, один-единственный волос с головы того грешника, который будет осужден на вечные муки, ввергнут богом в геенну огненную.

- Так мне легко будет освободить тебя, чистая, благочестивая душа! - сказал он.

- Следуй же за мною! - сказала тень. - Нам разрешено лететь с тобой всюду, куда бы ни повлекли тебя твои мысли! Незримые ни для кого, заглянем мы в самые тайники человеческих душ, и ты твердою рукой укажешь мне осужденного на вечные муки. Он должен быть найден, прежде чем пропоет петух.

И вот они мгновенно, словно перенесенные самой мыслью, очутились в большом городе. На стенах домов начертаны были огненными буквами названия смертных грехов: высокомерие, скупость, пьянство, сладострастие... Словом, тут сияла вся семицветная радуга грехов.

- Так я и думал, так и знал! Вот где обитают обреченные вечно гореть в огне преисподней! - сказал пастор.

Они остановились перед великолепно освещенным подъездом. Широкие лестницы, устланные коврами, уставленные цветами, вели в покои, где гремела бальная музыка. У подъезда стоял швейцар, разодетый в шелк и бархат, с большою серебряною булавой в руках.

- Наш бал поспорит с королевским! - сказал он, оборачиваясь к уличной толпе, а вся его фигура так и говорила: "Весь этот жалкий сброд, что глазеет в двери, мразь в сравнении со мною!"

- Высокомерие! - сказала тень усопшей. - Заметил ты его?

- Его! - повторил пастор. - Да ведь он просто глупец, шут! Кто же осудит его на вечную муку?

- Шут! - пронеслось эхом по всей этой обители высокомерия; все жильцы ее были таковы!

Пастор и призрак понеслись дальше и очутились в жалкой камерке с голыми стенами. Тут обитала Скупость. Исхудалый, дрожащий от холода, голодный и изнывающий от жажды старик цеплялся всею душой, всеми помыслами за свое

золото. Они видели, как он, словно в лихорадке, вскакивал с жалкого ложа и вынимал из стены кирпич - за ним лежало в старом чулке его золото, потом ощупывал дрожащими влажными пальцами свой изношенный кафтан, в котором тоже были зашиты золотые монеты.

- Он болен! Это жалкий безумец, не знающий ни покоя, ни сна! - сказал пастор.

Они поспешно унеслись прочь и очутились в тюрьме, у нар, на которых спали вповалку преступники. Вдруг один из них испустил ужасный крик, вскочил со сна, как дикий зверь, и принялся толкать своими костлявыми локтями спящего рядом соседа. Тот повернулся и проговорил спросонья:

- Замолчи, скот, и спи! И это каждую ночь!..

- Каждую ночь! - повторил первый. - Да, он каждую ночь и приходит ко мне, воеет и душит меня... Сгоряча я много делал злого, таким уж я уродился! Оттого я опять и угодил сюда! Но коли я грешил, так теперь и несу наказание! В одном только я не повинился еще. Когда меня в последний раз выпустили отсюда на волю и я проходил мимо двора моего хозяина, сердце во мне вдруг так вот и закипело... Я чиркнул о стенку спичкою, огонек слегка лизнул соломенную крышу, и все вспыхнуло разом. Пошла тут кутерьма не хуже, чем была у меня в душе!.. Я помогал спасти скот и имущество. Не сгорело ни одной живой души, кроме стаи голубей, которые влетели прямо в огонь, да цепного пса. О нем-то я и не вспомнил. Слышно было, как он вылез в пламени... Вой этот и до сих пор отдается у меня в ушах, как только я начну засыпать, а засну - пес тут как тут, большущий, лохматый!.. Он наваливается на меня, воеет, давит меня, душит... Да ты слушай, что я тебе рассказываю! Успеешь выспаться! Небось храпишь всю ночь, а я не могу забыться и на четверть часа!

И глаза безумца палились кровью, он бросился на соседа и стал бить его по лицу кулаками.

- Злой Мае опять взбесился! - слышались голоса, и другие преступники бросились на него, повалили, перегнули так, что голова его очутилась между ногами, и крепко-накрепко связали его. Кровь готова была брызнуть у него из глаз и изо всех пор кожи.

- Вы убьете несчастного! - вскричал пастор и протянул руку на защиту грешника, который так жестоко страдал еще при жизни, но обстановка вокруг опять изменилась.

И вот они пролетали через богатые дворцы, через бедные хижинки; сладострастие, зависть - все смертные грехи проходили перед ними. Ангел возмездия громко перечислял грехи людей и затем все, что могло послужить в их оправдание. Немногое можно было сказать в защиту людей, но бог читает в сердцах, видит все смягчающие обстоятельства, знает, что грех бывает вольный и невольный, да и велика милость его, всемилосердного, всеблагого! И рука пастора дрожала, он не смел протянуть ее, чтобы сорвать волос с головы грешника. Слезы ручьем полились из его глаз, слезы жалости и любви, которые могут залить даже огонь преисподней.

Запел петух.

- Милосердный Боже! Даруй же Ты ей тот покой, которого не в силах был доставить я!

- Я уже обрела его! - сказала тень. - Меня привели к тебе твои жестокие слова, мрачное недоверие к Богу и к Его творению! Познай же душу людей! Даже в самых злых грешниках жива Божья искра! Она теплится в их душе, и ее благодатное пламя сильнее огня преисподней!..

Тут пастор почувствовал на своих губах крепкий поцелуй: было совсем светло, ясное солнышко светило в окошки; жена его, живая, ласковая и любящая, разбудила его от сна, ниспосланного ему самим Богом.

Уж что муженек сделает, то и ладно (Пер. А. Ганзен)

Расскажу я тебе историю, которую сам слышал в детстве. Всякий раз, как она мне вспоминалась потом, она казалась мне все лучше и лучше: с историями ведь бывает то же, что со многими людьми, и они становятся с годами все лучше и лучше, а это куда как хорошо!

Тебе ведь случалось бывать за городом, где ютятся старые-престарые избышки с соломенными кровлями? Крыши у них поросли мхом и травой, на коньке непременно гнездо аиста, стены покосились, окошки низенькие, и открывается всего только одно. Хлебная печь выпячивает на улицу свое толстенькое брюшко, а через изгородь перевешивается бузина. Если же где случится лужица воды, там уж, глядишь, утка и утята плавают и корявая ива приткнулась. Ну и, конечно, возле избышки есть и цепная собака, что лает на всех и каждого.

Вот точь-в-точь такая-то избышка и стояла у нас за городом, а в ней жили старички - муж с женой. Как ни скромно было их хозяйство, а кое без чего они все же могли бы и обойтись - была у них лошадь, кормившаяся травой, что росла у придорожной канавы. Муж ездил на лошадке в город, одалживал ее соседям, ну, а уж известно, за услугу оплачивают услугой! Но все-таки выгоднее было бы продать эту лошадь или поменять на что-нибудь более полезное. Да вот на что?

- Ну, уж тебе это лучше знать, муженек! - сказала жена. - Нынче как раз ярмарка в городе, поезжай туда да и продай лошадку или поменяй с выгодой.

Уж что ты сделаешь, то и ладно. Поезжай с Богом.

И она повязала ему на шею платок - это-то она все-таки умела делать лучше мужа, - завязала его двойным узлом; очень шикарно вышло! Потом пригладила шляпу старика ладонью и поцеловала его в губы. И вот поехал он в город на лошади, которую надо было или продать, или обменять. Уж он-то знал свое дело!

Солнце так и пекло, на небе ни облачка! Пыль на дороге стояла столбом, столько ехало и шло народу - кто в тележке, кто верхом, а кто и просто пешком. Жара была страшная: солнцепек и ни малейшей тени по всей дороге.

Шел среди прочих и какой-то человек с коровой; вот уж была корова так корова! Чудесная! "Верно, и молоко дает чудесное! - подумал наш крестьянин. - То-то была бы мена, если бы сменять на нее лошадь!"

- Эй ты, с коровой! - крикнул он. - Пстой-ка! Видишь мою лошадь? Я думаю, она стоит дороже твоей коровы! Но так и быть: мне корова сподручнее.

Поменяемся?

- Ладно! - ответил тот, и они поменялись.

Дело было слажено, и крестьянин мог повернуть восвояси - он ведь сделал то, что задумал: но раз уж он решил побывать на ярмарке, так и надо было, хотя бы для того только, чтоб поглядеть на нее. Вот и пошел он с коровой дальше. Шаггал он быстро, корова не отставала, и они скоро нагнали человека, который вел овцу. Добрая была овца: в теле и шерсть густая.

"Вот бы мне такую! - подумал крестьянин. - Этой бы хватило травы на нашем краю канавы, а зимою ее и в избышке можно держать. И то сказать, нам сподручнее держать овцу, чем корову. Поменяться, что ли?"

Владелец овцы охотно согласился, мена состоялась, и крестьянин зашагал по дороге с овцой. Вдруг у придорожного плетня он увидел человека с большим гусем под мышкой.

- Ишь гусище-то у тебя какой! - сказал крестьянин. - У него и жира и пера вдоволь. А ведь любо было бы поглядеть, как он стоит на привязи у нашей лужи! Да и старухе моей было бы для кого собирать отбросы! Она часто говорит: "Ах, кабы у

нас был гусь!" Ну вот, теперь есть случай добыть его... и она его получит! Хочешь меняться? Дам тебе за гуся овцу да спасибо в придачу!

Тот не отказался, и они поменялись; крестьянин получил гуся. Вот и до городской заставы рукой подать. Толкотни на дороге прибавилось, люди и животные, сбившись толпой, шли по канаве и даже по картофельному полю сторожа. Тут бродила курица сторожа, но ее привязали к изгороди веревочкой, чтобы она не испугалась народа и не отбилась от дома.

Короткохвостая была курица, подмигивала одним глазом и вообще на вид хоть куда. "Куд-кудах!" - бормотала она. Что хотела она этим сказать, не знаю, но крестьянин, слушая ее, думал: "Лучше этой курицы я и не видывал. Она красивее наседки священника; вот бы нам ее! Курица везде сыщет себе зернышко, почитай что сама себя прокормит! Право, хорошо было бы сменять на нее гуся".

- Хочешь меняться? - спросил он у сторожа.

- Меняться? Отчего ж! - ответил тот.

И они поменялись. Сторож взял себе гуся, а крестьянин - курицу.

Немало-таки дел сделал он на пути в город, а жара стояла ужасная, и он сильно умаялся. Не худо было бы теперь и перекусить да выпить... А постоянный двор тут как тут. К нему он и направился, а оттуда выходил в эту минуту работник с большим, туго набитым мешком, и они встретились в дверях.

- Чего у тебя там? - спросил крестьянин.

- Гнилые яблоки! - ответил работник. - Несу полный мешок свиньям.

- Такую-то уйму?! Вот бы поглядела моя старуха! У нас в прошлом году уродилось на старой яблоне всего одно яблочко, так мы берегли его в сундуке, пока не сгнило. "Все же это показывает, что в доме достаток", - говорила старуха. Вот бы посмотрела она на такой достаток! Да, надо будет порадовать ее!

- А что дадите за мешок? - спросил парень.

- Что дам? Да вот курицу! - И он отдал курицу, взял мешок с яблоками, вошел в горницу - и прямо к прилавку, а мешок приткнул к самой печке.

Она топилась, но крестьянин и не подумал об этом. В горнице было пропасть гостей: барышники, торговцы скотом и два англичанина, такие богатые, что карманы у них чуть не лопались от золота, и большие охотники биться об заклад. Теперь слушайте!

Зу-ссс! Зу-ссс!.. Что это за звуки раздались у печки? А это яблоки начали печься.

- Что там такое? - спросили гости и сейчас же узнали всю историю о мене лошади на корову, коровы на овцу и так далее - до мешка с гнилыми яблоками.

- Ну и попадет тебе от старухи, когда вернешься! - сказали они. - То-то крику будет!

- Поцелует она меня, вот и все! - сказал крестьянин. - А еще скажет: "Уж что муженек сделает, то и ладно!"

- А вот посмотрим! - сказали англичане. - Ставим бочку золота! В мере сто фунтов!

- И полного четверика довольно! - сказал крестьянин. - Я-то могу поставить только полную мерку яблок да нас со старухой в придачу! Так мерка-то выйдет уж с верхом!

- Идет! - сказали те и ударили по рукам.

Подъехала тележка хозяина, англичане влезли, крестьянин тоже, взвалили и яблоки, покатали к избушке крестьянина...

- Здравствуй, старуха!

- Здравствуй, муженек!

- Ну, я променял!

- Да уж ты свое дело знаешь! - сказала жена, обняла его, а на мешок и англичан даже и не взглянула.

- Я променял лошадь на корову!

- Слава Богу, с молоком будем! - сказала жена. - Будем кушать и масло и сыр. Вот мена так мена!

- Так-то так, да корову-то я сменял на овцу!

- И того лучше! - ответила жена. - Обо всем-то ты подумашь! У нас и травы-то как раз на овцу! Будем теперь с овечьим молоком и сыром, да еще шерстяные чулки и даже фуфайки будут. Корова-то этого не даст! Она линяет. Вот какой ты, право, умный!

- Я и овцу променял - на гуся!

- Как, неужто у нас в этом году будет к мартинову дню жареный гусь, муженек?! Все-то ты думаешь, чем бы порадовать меня! Вот ведь славно придумал! Гуся можно будет держать на привязи, чтобы он еще больше разжирел к мартинову дню.

- Я и гуся променял - на курицу! - сказал муж.

- На курицу! Вот это мена! Курица нанесет яиц, высидит цыплят, заведем целый птичник! Вот чего мне давно хотелось!

- А курицу-то я променял на мешок гнилых яблок!

- Ну так дай же мне расцеловать тебя! - сказала жена. - Спасибо тебе, муженек!.. Вот послушай, что я расскажу тебе. Ты уехал, а я и подумала:

"Дай-ка приготовлю ему к вечеру что-нибудь повкуснее - яичницу с луком!" Яйца-то у меня были, а луку не было. Я и пойди к жене школьного учителя. Я знаю, лук у них есть, но она ведь скупая-прескупая! Я прошу одолжить мне луку, а она: "Одолжить! Ничего у нас в саду не растет, даже гнилого яблока не отыщешь!" Ну, а я теперь могу одолжить ей хоть десяток, хоть целый мешок! Вот смехуто, муженек! - И она опять поцеловала его в губы.

- Вот это нам нравится! - вскричали англичане. - Все хуже да хуже, и все нипочем! За это и деньги отдать не жаль!

И они отсыпали крестьянину за то, что ему достались поцелуи, а не трепка, целую меру золотых.

Да, уж если жена считает мужа умнее всех на свете и все, что он ни делает, находит хорошим, это без награды не остается!

Вот и вся история! Я слышал ее в детстве, а теперь рассказал ее тебе, и ты теперь знаешь: "Уж что муженек сделает, то и ладно".

Всяк знай своё место!

(Пер. А. Ганзен)

Тому минуло уж больше ста лет.

За лесом у большого озера стояла старая барская усадьба; кругом шли глубокие рвы с водой, поросшие осокой и тростником. Возле мостика, перекинутого через ров перед главными воротами, росла старая ива, склонявшаяся ветвями к тростнику.

С дороги слышались звуки рогов и лошадиный топот, и маленькая пастушка поторопилась отогнать своих гусей с мостика в сторону. Охотники скакали во весь опор, и самой девочке пришлось поскорее прыгнуть с мостика на большой камень возле рва - не то бы ей несдобровать! Она была совсем ещё ребенок, такая тоненькая и худенькая, с милым, добрым выражением лица и честными, ясными

глазками. Но барину-то что за дело? На уме у него были одни грубые шутки, и вот, проносясь мимо девочки, он повернул хлыст рукояткой вперед и ткнул им пастушку прямо в грудь. Девочка чуть не упала.

- Всяк знай своё место! Твоё - в грязи! - прокричал барин и захохотал. Как же! Ему ведь удалось сострить! За ним захохотали и остальные; затем всё общество с криком и гиканьем понеслось по мостику; собаки так и заливались. Вот уж подлинно, что

«Богатая птица шумно бьёт крылами!»

Богат ли был барин, однако, ещё вопрос.

Бедная пастушка, теряя равновесие, ухватилась за ветку ивы и, держась за неё, повисла над тиной. Когда же господа и собаки скрылись за воротами усадьбы, она попробовала было вскарабкаться на мостик, но ветка вдруг обломилась у самого ствола, и девочка упала в тростник. Хорошо, что её в ту же минуту схватила чья-то сильная рука. По полю проходил коробейник; он видел всё и поспешил девочке на помощь.

- Всяк знай своё место! - пошутил он, передразнивая барина, и вытащил девочку на сушу. Отломанную ветку он тоже попробовал поставить на своё место, но не всегда-то ведь поговорка оправдывается! Пришлось воткнуть ветку прямо в рыхлую землю. - Расти, как сможешь, и пусть из тебя выйдет хорошая дудка для этих господ!

При этом он от души пожелал, чтобы на ней сыграли когда-нибудь для барина и всей его свиты хороший шпичрутенмарш. Затем коробейник направился в усадьбу, но не в парадную залу - куда такой мелкой сошке лезть в залы, - а в людскую. Слуги обступили его и стали рассматривать товары, а наверху, в зале, шёл пир горой. Гости вздумали петь и подняли страшный рев и крик: лучше они петь не умели! Хохот, крики и собачий вой оглашали дом; вино и старое пиво пенилось в стаканах и кружках. Любимые собаки тоже участвовали в трапезе, и то один, то другой из молодых господ целовал их прямо в морду, предварительно обтерев её длинными, обвислыми ушами собаки. Коробейника тоже призвали в залу, но только ради потехи. Вино бросилось им в голову, а рассудок, конечно, и вон сейчас! Они налили коробейнику пива в чулок, - выпьешь, мол, и из чулка, торопись только! То-то хитро придумали! Было над чем зубоскалить! Целые стада, целые деревни вместе с крестьянами ставились на карту и проигрывались.

- Всяк знай своё место! - сказал коробейник, выбравшись из этого Содома и Гоморры, как он называл усадьбу. - Моё место - путь-дорога, а в усадьбе мне совсем не по себе!

Маленькая пастушка ласково кивнула ему на прощанье из-за плетня.

Дни шли за днями, недели за неделями; сломанная ветка, посаженная коробейником у самого рва, не только не засохла и не пожелтела, но даже пустила свежие побеги; пастушка глядела на неё да радовалась: теперь у неё завелось как будто своё собственное дерево.

Да, ветка-то всё росла и зеленела, а вот в господской усадьбе дела шли всё хуже и хуже: кутежи и карты до добра не доводят.

Не прошло и шести лет, как барин пошел с сумою, а усадьбу купил богатый коробейник, тот самый, над которым господа потешались, наливая ему пива в чулок. Честность и трудолюбие хоть кого поставят на ноги, и вот коробейник сделался хозяином усадьбы, и с того же часа карты были изгнаны из неё навсегда.

- От них добра не жди! - говорил хозяин. - Выдумал их сам чёрт: увидал Библию, ну и давай подражать на свой лад!

Новый хозяин усадьбы женился, и на ком же? На бывшей пастушке! Она всегда отличалась добронравием, благочестием и сердечностью, а как нарядилась в новые платья, так стала ни дать ни взять красавицей барышней! Как же, однако, все это случилось? Ну, об этом больно долго рассказывать, а в наш недосужий век, известно, все торопятся! Случилось так, ну и всё, а дальше-то вот пойдет самое важное.

Славно жилось в старой усадьбе; хозяйка сама вела всё домашнее хозяйство, а хозяин заправлял всеми делами; благосостояние их всё росло; недаром говорится, что деньга родит деньгу. Старый дом подновили, выкрасили, рвы очистили, всюду насадили плодовых деревьев, и усадьба выглядела как игрушечка. Пол в комнатах так и блестел; в большой зале собирались зимними вечерами все служанки и вместе с хозяйкой пряли шерсть и лён; по воскресным же вечерам юстиц-советник читал им из Библии. Да, да, бывший коробейник стал юстиц-советником, - правда, только на старости лет, но и то хорошо! Были у них и дети; дети подрастали, учились, но не у всех были одинаковые способности, - так оно бывает ведь и во всех семьях.

Ветка же стала славным деревцом; оно росло на свободе, его не подстригали, не подвязывали.

- Это наше родовое дерево! - говорили старики и внушали всем детям, даже тем, которые не отличались особенными способностями, чтить и уважать его.

И вот с тех пор прошло сто лет.

Дело было уже в наше время. Озеро стало болотом, а старой усадьбы и вовсе как не бывало; виднелись только какие-то канавки с грязной водой да с камнями по краям - остатки прежних глубоких рвов. Зато старое родовое дерево красовалось по-прежнему. Вот что значит дать дереву расти на свободе! Правда, оно треснуло от самых корней до вершины, слегка покривилось от бурь, но стояло всё ещё крепко; из всех его трещин и щелей, куда ветер занес разные семена, тянулись к свету травы и цветы. Особенно густо росли они там, где ствол раздваивался. Тут образовался точно висячий садик: из середины дупла росли малиновый куст, мокричник и даже небольшая стройная рябинка. Старая ива отражалась в черной воде канавки, когда ветер отгонял зелёную ряску к другому краю. Мимо дерева вилась тропинка, уходившая в хлебное поле.

У самого же леса, на высоком холме, откуда открывался чудный вид на окрестность, стоял новый роскошный дом. Окна были зеркальные, такие чистые и прозрачные, что стёкол словно и не было вовсе. Широкий подъезд казался настоящею беседкой из роз и плюща. Лужайка перед домом зеленела так ярко, точно каждую былинку охорашивали и утром и вечером. Залы увешаны были дорогими картинами, уставлены обитыми бархатом и шёлком стульями и диванами, которые только что не

катались на колесиках сами. У стен стояли столы с мраморными досками, заваленные альбомами в сафьяновых переплётах и с золотыми обрезами... Да, богатые, видно, тут жили люди! Богатые и знатные - это было семейство барона.

И всё в доме было подобрано одно к одному. “Всяк знай своё место”, - говорили владельцы, и вот картины, висевшие когда-то в старой усадьбе на почётном месте, были вынесены в коридор, что вел в людскую. Все они считались старым хламом, в особенности же два старинных портрета. На одном был изображен мужчина в красном кафтане и в парике, на другом - дама с напудренными, высоко взбитыми волосами, с розою в руках. Оба были окружены венками из ветвей ивы. Портреты были во многих местах продырявлены. Маленькие барончики стреляли в них из луков, как в мишень. А на портретах-то были нарисованы сам юстиц-советник и советница, родоначальница баронской семьи.

- Ну, они вовсе не из нашего рода! - сказал один из барончиков. - Он был коробейником, а она пасла гусей! Это совсем не то, что рара и тама.

Портреты, как сказано, считались хламом, а так как “всяк знай своё место”, то прабабушку и прадедушку и выставили в коридор.

Домашним учителем в семье был сын пастора. Раз как-то он отправился на прогулку с маленькими барончиками и их старшей сестрой, которая только недавно конфирмовалась¹. Они шли по тропинке мимо старой ивы; молодая баронесса составляла букет из полевых цветов. Правило “всяк знай своё место” соблюдалось и тут, и в результате вышел прекрасный букет. В то же время она внимательно прислушивалась к рассказам пасторского сына, а он рассказывал о чудесных силах природы, о великих исторических деятелях, о героях и героинях. Баронесса была здоровою, богато одарённою натурой, с благородною душой и сердцем, способным понять и оценить всякое живое создание.

Возле старой ивы они остановились - младшему барончику захотелось дудочку; ему не раз вырезали их из ветвей других ив, и пасторский сын отломил ветку.

- Ах, не надо! - сказала молодая баронесса, но дело было уже сделано. - Ведь это же наше знаменитое родовое дерево! Я так люблю его, хоть надо мною и смеются дома! Об этом дереве рассказывают...

И она рассказала всё, что мы уже знаем о старой усадьбе и о первой встрече пастушки и коробейника, родоначальников знатного баронского рода и самой .молодой баронессы.

- Славные, честные старички не гнались за дворянством! - сказала она. - У них была поговорка: “Всяк знай своё место”, а им казалось, что они не будут на своём, если купят себе дворянство за деньги. Сын же их, мой дедушка, сделался бароном. Говорят, он был такой ученый и в большой чести у принцев и принцесс; его постоянно приглашали на все придворные празднества. Его у нас дома особенно любят, я же, сама не знаю почему, больше симпатизирую двум старичкам. Могу себе представить их уютную патриархальную жизнь: хозяйка сидит и прядёт вместе со своими служанками, а старик хозяин читает вслух Библию!

¹ Прошла обряд конфирмации

- Да, славные, достойные были люди! - сказал пасторский сын.

Завязался разговор о дворянстве и о мещанстве, и, слушая пасторского сына, право, можно было подумать, что сам он не из мещан.

- Большое счастье принадлежать к славному роду - тогда сама кровь твоя как бы прищипывает тебя, подгоняет делать одно хорошее. Большое счастье носить благородное родовое имя - это входной билет в лучшие семьи! Дворянство свидетельствует о благородстве крови; это чеканка на золотой монете, означающая её достоинство. Но теперь ведь в моде, и ей следуют даже многие поэты, считать всё дворянство дурным и глупым, а в людях низших классов открывать тем более высокие качества, чем ниже их место в обществе. Я другого мнения и нахожу такую точку зрения ложною. У людей высших сословий можно подметить много поразительно прекрасных черт характера. Мать моя рассказывала мне про это целую историю, и я сам могу привести их много. Мать была раз в гостях в одном знатном доме - бабушка моя, если не ошибаюсь, выкормила госпожу этого дома. Мать стояла в комнате, разговаривая со старым высокородным господином, и вдруг он увидел, что по двору ковыляет на костылях бедная старуха, которая приходила к нему по воскресеньям за милостыней. "Бедняга! - сказал он. - Ей так трудно взбираться сюда!" И прежде чем мать успела оглянуться, он был уже за дверями и спустился по лестнице. Семидесятилетний старик генерал сам спустился во двор, чтобы избавить бедную женщину от труда подниматься за милостыней! Это только мелкая черта, но она шла прямо от сердца, из глубины человеческой души, и вот на неё-то должен был указать поэт, в наше-то время и следовало бы воспеть её! Это принесло бы пользу, умиротворило и смягчило бы сердца! Если же какое-нибудь подобие человека считает себя вправе - только потому, что на нём, как на кровной арабской лошади, имеется тавро, становиться на дыбы и ржать на улице, а входя в гостиную после мещанина, говорить: "Здесь пахнет человеком с улицы!" - то приходится признать, что в лице его дворянство пришло к разложению, стало лишь маской, вроде той, что употреблял Феспис. Над такую фигурой остаётся только посмеяться, хлестнуть её хорошенько бичом сатиры!

Вот какую речь держал пасторский сын; длинновата она была, да зато он успел в это время вырезать дудку.

В баронском доме собралось большое общество, наехали гости из окрестностей и из столицы; было тут и много дам - одетых со вкусом и без вкуса. Большая зала была полна народа. Священники из окрестных приходо́в сбились в кучу в один угол. Можно было подумать, что люди собрались сюда на похороны, а на самом-то деле - на праздник, только гости ещё не разошлись как следует.

Предполагалось устроить большой концерт, и маленький барончик тоже вышел со своею дудкой, но ни он, ни даже сам рара не сумели извлечь из неё звука, - значит, она никуда не годилась!

Начались музыка и пение того рода, что больше всего нравятся самим исполнителям. Вообще же всё было очень мило.

- А вы, говорят, виртуоз! - сказал один кавалер, папенькин и маменькин сынок. - Вы играете на дудке и даже сами вырезали её. Вот это истинный гений! Помилуйте! Я

вполне следую за веком; так ведь и должно! Не правда ли, вы доставите нам высокое наслаждение своею игрой?

И он протянул пасторскому сыну дудку, вырезанную из ветви старой ивы, и громко провозгласил, что домашний учитель сыграет соло на дудке.

Разумеется, над учителем только хотели посмеяться, и молодой человек отнекивался, как мог, хотя и умел играть. Но все ужасно пристали к нему, и вот он взял дудку и поднес её ко рту.

Вот это была дудка так дудка! Она издала звук, протяжный и резкий, точно свисток паровоза, даже ещё резче; он разнесся по всему двору, саду и лесу, прокатился эхом на много миль кругом, а вслед за ним пролетел бурный вихрь. Вихрь свистел: “Всяк знай своё место!” И вот рара, словно на крыльях ветра, перелетел двор и угодил прямо в пастуший шалаш, пастух же перелетел не в валу, там ему было не место, - но в людскую, в круг разодетых лакеев, щеголявших в шёлковых чулках.

Гордых лакеев чуть не хватил паралич от такой неожиданности. Как? Такое ничтожество - и вдруг смеет садиться за стол рядом с ними!

Молодая баронесса между тем была перенесена вихрем на почётное место, во главе стола, которого она была вполне достойна, а пасторский сын очутился возле неё, и вот они сидели рядом, словно жених с невестой! Старый граф, принадлежавший к одной из древнейших фамилий, не был смещен со своего почетного места, - дудка была справедлива, да ведь иначе и нельзя. Остроумный же кавалер, маменькин и папенькин сынок, полетел вверх ногами в курятник, да и не он один.

За целую милю слышен был этот звук, и вихрь успел наделать бед. Один богатый глава торгового дома, ехавший на четвёрке лошадей, тоже был подхвачен вихрем, вылетел из экипажа и не мог потом попасть даже на запятки, а два богатых крестьянина, из тех, что разбогатели на наших глазах, угодили прямо в тину. Да, преопасная была дудка! Хорошо, что она дала трещину при первом же звуке, и её спрятали в карман - “всяк знай своё место”.

На другой день о происшествии не было и помину, оттого и создалась поговорка: “Спрятать дудку в карман”. Всё опять пришло в порядок, только два старых портрета, коробейника и пастушки, висели уже в парадной зале; вихрь перенес их туда, а один из настоящих знатоков искусства сказал, что они написаны рукой великого мастера: вот их и оставили там и даже подновили. А то прежде и не знали, что они чего-нибудь стоят, - где ж было знать это! Таким образом, они все-таки попали на почетное место: “всяк знай своё место!” И так оно в конце концов всегда и бывает, - вечность ведь длинна, куда длиннее этой истории!

Кое-что
(Пер. А. Ганзен)

Хочу добиться чего-нибудь! — сказал самый старший из пяти братьев. — Хочу приносить пользу! Пусть мое положение в свете будет самое скромное — раз я делаю что-нибудь полезное, я уже не даром копчу небо. Займусь выделкой кирпичей. Они нужны всем, — значит, я сделаю кое-что.

— Но очень мало! — сказал второй. — Выделка кирпичей — дело самое пустое. Стоит ли браться за такой труд, который может выполнить и машина? Нет, вот сделаться каменщиком — это кое-что повыше; каменщиком я и буду. Это все-таки цех, а попав в цех, сделаешься гражданином, у тебя будет свое знамя и свой кабачок! Если же повезет, я стану держать и подмастерьев. И меня будут звать мастером, хозяином, а жену мою — хозяйшюкою! Вот это — кое-что повыше!

— И все же не Бог весть что! — сказал третий. — Каменщик никогда не может возвыситься до более почетного положения в обществе, чем простой ремесленник. Ты можешь быть честнейшим человеком, но ты «мастер», значит — из простых. Нет, я добиваюсь кое-чего повыше! Я хочу быть строителем, вступить в область искусства, достигнуть высших ступеней в умственных сферах. Конечно, придется начать снизу, сознаюсь откровенно — придется поступить в ученики, носить фуражку, хотя я и привык к цилиндру, бегать за пивом и водкой, словом, быть на побегушках у простых подмастерьев, которые станут меня «тыкать», — что и говорить, обидно! Но я буду думать, что все это один маскарад, маскарадные вольности, а завтра, то есть когда я сам выйду в подмастерья, я пойду своею дорогой; до других мне и дела не будет! Я поступлю в академию, научусь рисовать, добьюсь звания архитектора — вот это уже кое-что повыше! Я могу сделаться «высокоблагородием», получить приставку к имени и спереди и сзади, и буду строить, строить, как и другие до меня! Вот что называется занять настоящее положение в обществе!

— Ну, а мне ничего такого не нужно! — сказал четвертый. — Не хочу идти по проторенной дорожке, не хочу быть копией! Я гений и перещеголяю вас всех! Я изобрету новый стиль, новый вид построек, соответствующий климату и материалам страны, нашей национальности и современному развитию общества! А ко всему этому я прибавлю еще один этаж — ради моей собственной гениальности!

— А если и климат и материалы никуда не годны? — сказал пятый. — Будет худо! Это ведь сильно влияет! Национальность тоже может развиваться в ущерб естественности, а желание идти в уровень с веком заставит тебя, пожалуй, забежать вперед, как это часто и случается с молодежью. Нет, как вижу, никто из вас не добьется ничего путного, сколько вы там ни воображайте о себе! Но делайте, как знаете! Я не стану подражать вам, буду держаться в стороне и обсуждать ваши дела! В каждой вещи найдется изъянчик, вот я и стану выискивать его да рассуждать о нем! Вот это — кое-что повыше!

Так он и сделал, и люди говорили о нем: «В нем есть кое-что! Умная голова! Одно вот — ничего не делает!» Таким образом и он добился кое-чего.

Вот вам и историйка; невелика она, а конца ей нет, пока держится мир!

Но разве из пяти братьев так и не вышло ничего особенного? Стоило тогда и заводить о них разговор! А вот послушайте, что вышло. Целая сказка!

Самый старший из братьев, тот, что выделявал кирпичи, скоро узнал, что из каждого готового кирпича выскакивает скиллинг, правда медный, но девяносто шесть таких, сложенных вместе, дают уже серебряный далер, и стоит только постучать им в дверь к булочнику, мяснику, портному, к кому хочешь — дверь сейчас настезь, и получай, что нужно. Так вот на что годились кирпичи; некоторые из них шли, конечно, и в брак, так как трескались или ломались пополам, но и эти пригодились.

Бедной бабушке Маргарите хотелось выстроить хижинку на самой плотине, на берегу моря. И вот старший брат отдал ей все обломки кирпичей, да еще несколько штук целых в придачу, — он был человек добрый, даром что простой рабочий. Старушка сама кое-как слепила себе из кирпичей лачужку; тесенькая она вышла, единственное оконце смотрело криво, дверь была слишком низка, а соломенная

крыша могла бы быть пригнана лучше, но все-таки в лачужке можно было укрыться от дождя и непогоды, а из оконца открывался вид на море, бившееся о плотину. Соленые брызги частенько окачивали жалкую лачугу, но она держалась крепко; умер и тот, кто пожертвовал для нее кирпичи, а она все стояла.

Второй брат, тот умел строить получше! Выйдя в подмастерья, он вскинул котомку на спину и запел песенку подмастерьев:

*Конец ученью! В путь-дорогу
Искать работу я пуцусь!
Здоров я, молод, слава Богу,
Работник знатный – побожусь!*

*Когда ж на родину вернусь,
Женюсь на любушке своей!
Сидеть без хлеба не боюсь,
Ведь мастер нужен всем – ей-ей!*

Так он и сделал. Вернувшись в родной город и став мастером, он строил дом за домом и застроил целую улицу. Дома стояли крепко, а улица украшала собою город – и вот все эти дома выстроили в свою очередь домик самому мастеру. Разве дома могут строить? А вот спроси у них; они-то не ответят, но люди скажут: «Конечно, это улица выстроила ему дом!» Домик был невелик, с глиняным полом, но, когда мастер плясал по этому полу со своею невестой, он заблестел, что твой паркет, а из каждого кирпича в стене выскочил цветок – не хуже дорогих обоев вышло!

Да, славный это был домик и счастливая парочка! Над домиком развевался цеховой значок, а подмастерья и ученики кричали хозяину «ура!» Вот он и добился кое-чего, а потом умер – добился кое-чего еще!

Теперь очередь за архитектором, третьим братом, который был сначала мальчиком-учеником, ходил в фуражке и был на побегушках у подмастерьев. Побывав в академии, он в самом деле стал архитектором и «высокоблагородием!» Дома на улице выстроили домик второму брату, каменщику, а сама улица получила имя третьего брата, и самый красивый дом на улице принадлежал ему. Вот этот брат добился кое-чего, добился даже длинного титула и впереди и после имени. Дети его стали благородными, и вдова его, когда он умер, числилась благородною вдовой. Имя же его осталось на углу улицы и не сходило с уст народа. Да, этот добился кое-чего!

За ним шел четвертый брат, гений, который стремился создать нечто новое, особенное, да еще один этаж сверх того. Увы! Этот этаж обрушился, и гений сломал себе шею. Зато ему устроили пышные похороны с музыкой, знаменами и цветами – красноречия в газетах и – живыми на мостовой. Над могилой же были произнесены три речи, одна длиннее другой. Чего же ему больше? Он ведь так желал заставить говорить о себе. Со временем ему поставили и памятник, правда одноэтажный, но и это кое-что значит!

Итак, умер и четвертый брат, как первые три, но пятый, критик, пережил их всех. Оно так и следовало, чтобы последнее слово осталось за ним; это было для него важнее всего. Недаром он слыл «умной головой!» Но вот пробил и его час, он тоже умер, и явился к воротам рая. А здесь подходят всегда попарно, вот и с ним рядом очутилась другая душа, которой тоже хотелось войти в рай. Это была как раз бабушка Маргарита с плотины.

– Эту душонку поставили со мною в пару, верно, ради контраста! – сказал резонер. – Ну, кто ты такая, бабушка? И тебе тоже хочется туда? – спросил он.

Старушка присела чуть не до земли, подумав, что с нею говорит сам св. Петр.

– Я бедная, безродная старуха Маргарита с плотины.

– Ну, а что же ты сделала, что совершила на земле?

– Ох, ничего я такого не сделала, за что бы мне отворили двери рая! Разве уж из милости впустят!

– Как же ты распростилась с жизнью? – спросил он, чтобы как-нибудь скоротать время, – он уж соскучился стоять тут и ждать.

– Да и сама не знаю, как! Больная я была, старая, ну, верно, и не вынесла мороза да стужи, как выползла за порог! Зима-то ведь нынче какая лютая была, натерпелась я всего! Ну, да теперь все уж прошло! Денька два выдались таких тихих, но страсть морозных, как сами знаете, Ваша Милость. Все море, куда ни взглянешь, затянуло льдом, весь город и высыпал на лед, кататься на коньках и веселиться. Играла музыка, затеяли пляс да угощение. Мне все это слышно было из моей каморки. Дело было к вечеру; месяц уж выглянул, но еще не вошел в полную силу. Я лежала в постели и глядела в окошко на море; вдруг вижу там, где небо сливается с морем, стоит какое-то диковинное белое облако с черной точкой в середине! Точка стала расти, и тогда я догадалась, что это за облако. Стара ведь я была и много видала на своем веку! Такое знамение нечасто приходится видеть, но я все-таки видела его уже два раза и знала, что облако это предвещает страшную бурю и внезапный прилив, которые могут застигнуть всех этих бедных людей! А они-то так веселятся, пьют и пляшут на льду! Весь город ведь, все – и стар, и млад были там! Что, если никто из них не заметит и не узнает того, что видела и знала я?! От испуга я просто помолодела, ожила, смогла даже встать с постели и подойти к окну. Растворила я его и вижу, как люди бегают и прыгают по льду, вижу красивые флаги, слышу, как мальчишки кричат «ура!», девушки и парни поют... Веселье так и кипело, но облачко подымалось все выше и выше, черная точка все росла... Я крикнула, что было сил, но никто не услышал меня – далеко было! А скоро ударит буря, лед разобьется в куски, и все провалятся – спасения нет! Услышать меня они не могли, дойти туда самой мне тоже было невмочь! Как же мне выманить их на берег? Тут-то и надоумил меня Господь поджечь мою постель. Пусть лучше сгорит весь дом, чем погибнет столько людей такую ужасною смертью! Я подожгла постель, солома ярко вспыхнула, а я – скорее за порог, да там и упала... Дальше отойти я уж не смогла. Огненный столб взвился вслед за мною из дверей и из окна, пламя охватило крышу!.. На льду увидели пожар и пустились со всех ног на помощь мне, бедной старухе, – они думали, что я сгорю заживо!.. Все до одного прибежали ко мне; я слышала, как они обступили меня, и в ту же минуту в воздухе засвистело, загремело, точно из пушки выпалило; лед взломало, но весь народ был уже на плотине, где меня обдавало дождем искр. Я спасла их всех. Только мне-то, верно, не под силу было перенести холод и весь этот страх, вот я и очутилась тут у ворот рая. Говорят, они открываются даже для таких бедняг, как я! На земле у меня нет больше крова, но, конечно, это еще не дает мне права войти в рай!

Тут врата райские открылись, и ангел позвал старуху. Входя туда, она обронила соломинку из своей постели, которую подожгла, чтобы спасти столько людей, и соломинка превратилась в чисто золотую, стала расти и принимать самые причудливые, красивые очертания.

– Вот что принесла с собою бедная старуха! – сказал ангел. – А ты что принес? Да, да, знаю, ты не ударил пальцем о палец во всю свою жизнь, не сделал даже ни единого кирпичика. Ах, если бы ты мог вернуться на землю и принести оттуда хоть какой кирпич! Кирпич твоей работы навряд ли годился бы куда-нибудь, но все же он показывал бы хоть доброе желание сделать кое-что. Но возврата нет, и я ничего не могу сделать для тебя!

Тогда вступилась за него бедная старуха с плотины:

– Брат его сделал и подарил мне много кирпичей и обломков; из них я слепила свою убогую лачужку, и это уж было огромным счастьем для меня, бедняжки! Пусть же все эти обломки и кирпичи сочтутся ему хоть за один кирпич! Его брат оказал мне милость, теперь этот бедняга сам нуждается в милости, а тут ведь царство Высшей Милости!

– Брат твой, которого ты считал самым ничтожным, – сказал ангел, – честное ремесло которого находил унижительным, вносит теперь за тебя лепту в небесную сокровищницу. Тебя не отгонят прочь, тебе позволят стоять тут за дверями и придумывать, как бы поправить твою земную жизнь, но в рай тебя не впустят, пока ты воистину не совершишь кое-чего.

– Ну, я бы сказал все это куда лучше! – подумал резонер, но не высказал своей мысли, и это уже было с его стороны *кое-что*.

Скрыто - не забыто (Пер. А. Ганзен)

Стоял старый замок, окруженный тинистыми рвами; вел к нему подъемный мост, который чаще бывал поднят, чем опущен, – не всякий гость приятен! В стенах под крышей были бойницы; из них стреляли, лили кипяток и даже растопленный свинец на головы врагов, если те подступали чересчур близко. Потолки в замковых покаях были высокие, и хорошо, что так: по крайней мере было куда деваться дыму, выходявшему из камина, где шипели огромные сырые коряги. По стенам висели портреты закованных в латы мужчин и гордых дам в платьях из тяжелой материи. Самой же стройной, величественной из них была сама нынешняя владелица замка – Метта Могенс.

Раз вечером на замок напали разбойники, убили трех слуг и цепную собаку, а вместо нее посадили на цепь госпожу. Сами же расселись в зале и начали бражничать, попивая доброе вино и пиво из погребов замка.

И вот госпожа Метта сидела на цепи и даже лаять не могла. Вдруг явился слуга разбойников; он подкрался к ней потихоньку, чтобы не заметили разбойники, – они бы убили его.

– Госпожа Метта Могенс! – сказал он. – Помнишь ли ты, как твой муж посадил на кобылку моего отца? Ты просила за него, но просьбы не помогли, он должен был сидеть, пока не искалечится; тогда ты подкралась к нему, как я теперь к тебе, и сама подложила ему камешек, сперва под одну, потом под другую ногу, чтобы дать ему отдохнуть. Никто не заметил этого, или все сделали вид, что не заметили, – ты была ведь молодой доброй госпожой их! Вот что рассказывал мне мой отец, и я скрыл это в моем сердце, скрыл, но не забыл! Теперь я освобожу тебя, госпожа Метта Могенс.

Они вывели из конюшни лошадей и помчались в дождь и ветер прочь от замка, за помощью.

– Ты щедро платишь за мою маленькую услугу старику! – сказала Метта Могенс.

– Скрыто – не забыто! – повторил слуга. Разбойников повесили.

Стоял старый замок; стоит он и посейчас, но владеет им не Метта Могенс, а другой дворянский род.

Было это уже в наше время. Золоченые шпицы башен сияли на солнце, маленькие лесные островки выглядывали из воды словно букеты, а вокруг них плавали белые лебеди. В саду цвели розы, но сама владелица замка была свежее, прекраснее лепестка розы. Она вся сияла от радости, от сознания

сделанного ей доброго дела. Добрые дела ее не кричат о себе по свету, но находят себе приют в сердцах людей; там они скрыты, но не забыты.

Вот она идет из замка к одинокой лачужке в поле. В ней живет бедная параличная девушка. Единственное окошечко ее коморки было обращено на север, и солнце не заглядывало к ней никогда. Она видела в окно только краешек поля, ограниченного высокой насыпью. Но сегодня в комнатке сияет солнышко, теплое Господне солнышко! Оно светит с юга в новое окошко, прорубленное в прежде глухой стене.

Параличная сидит и греется на солнышке, любит лесом и берегом морским; свет вдруг так расширился для нее, приобрел новую красоту, и все это — по одному зову ласковой владительницы замка.

— Мне ничего не стоило сделать это маленькое доброе дело! — говорит она. — А оно доставило мне такую огромную, бесконечную радость!

Вот почему она и продолжает творить добро, думать обо всех нуждающихся в утешении и в бедных хижинах, и в богатых домах — и там находятся такие. Добрые дела ее остаются скрытыми, но не забытыми Господом Богом.

В большом, шумном городе стоял старый дом. В нем было много комнат и зал, но мы туда не пойдем, а останемся в кухне. Тут тоже светло, уютно, чисто и мило. Медная посуда так и блестит, стол чисто выскоблен, лоханка тоже. Все это дело рук служанки; она одна служанка в доме и все-таки находит еще время, убравшись по дому, приодеться, словно собирается в церковь. На голове у нее чепчик с черным бантиком; это означает траур, скорбь. Но у нее нет никого, о ком бы ей печалиться, — ни отца, ни матери, ни родственников, ни милого; она бедная, одинокая девушка. Когда-то, впрочем, у нее был жених, такой же бедняк, как и она сама; они горячо любили друг друга, но вот однажды он сказал ей:

— У нас с тобой нет ничего! А богатая вдова-погребщица давно нашептывает мне ласковые слова. Она хочет мне добра! Но мое сердце полно тобою! Что ты посоветуешь мне?

— Делай так, как, по-твоему, будет для тебя лучше! — сказала она. — Будь добр и ласков с нею, но помни, что раз мы расстанемся — больше уж не увидимся!

Прошло несколько лет, и вот она встретила на улице своего прежнего жениха. Он выглядел так плохо, что она не могла пройти мимо него, не спросив:

— Что с тобою? Как тебе живется?

— Хорошо и богато! — ответил он. — Жена моя добрая, славная женщина, но в моем сердце одна ты. Я отстрадал свое, скоро конец! Мы свидимся теперь только на том свете!

Прошла неделя, и сегодня утром в газете появилось извещение о его смерти; вот почему у девушки черный бантик на чепчике. Жених ее умер, «потерян для жены и трех пасынков» — как сказано в извещении. Звучит-то оно как-то фальшиво, но самый колокол из чистого металла.

Черный бантик говорит о горе; лицо девушки говорит о нем еще сильнее. В сердце ее он скрыт и никогда не будет забыт!

Вот и все три истории, три листка, выросшие на одном стебельке. Хочешь еще таких трилистников? Их много хранится в памятной книжке сердца.

Многое там скрыто, но не забыто!